

РАДИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ



Издательство «Детская литература»





Q



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ НЕРУССКИХ ШКОЛ

РАДИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ

*Стихи
и рассказы
о Великой
Отечественной
войне*



МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

С62
Р15

Составитель
В. А. Близненкова

Художник
В. ШЕВЧЕНКО

Р15 Ради жизни твоей: Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне/Сост. В. Близненкова; Рис. В. Шевченко.— М.: Дет. лит., 1986.— 143 с., ил.— (Школьная б-ка для нерусских школ).

В пер.: 95 коп.

В сборник включены рассказы и стихи известных советских писателей.

Р 4803010102—074 351—85
М101(03)86

С62

© Состав. Предисловие. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986 г.

Неподалёку от Берлина, над которым клубился дым и алели победные знамёна Советской Армии, в большом зале старого немецкого замка Маршал Советского Союза Жуков сказал:

— Пусть представитель германского командования подойдёт к столу и подпишет документ.

Очевидцы вспоминают, что, хотя в зале было много народу, стояла удивительная тишина.

Фашистский фельдмаршал фон Кейтель сел за стол, вставил в глаз монокль, склонился над бумагами...

Застрекотали кинокамеры.

Так 8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Наступило 9 мая. День Победы. Великая Отечественная война закончилась.

Она была поистине Великой. Почти четыре года неумолчно грохотали её сражения. На тысячи километров от заполярного Баренцева до тёплого Чёрного моря тянулся её фронт, где миллионы советских людей вели непрестанный, жестокий бой с немецко-фашистскими захватчиками. И весь советский народ, от мала до велика, помогал своей Армии и Военно-Морскому Флоту в этой смертельной борьбе.

Она была поистине Отечественной. Решалась судьба нашего первого в мире государства трудящихся — Союза Советских Социалистических Республик, всех его народов и народностей, решался вопрос, жить ли им свободными на своей земле или стать рабами фашистов. Но ведя суровый бой за своё Отечество, советские люди сражались и за освобождение всех народов Европы, за будущее всего человечества.

Вот о какой войне рассказывает эта книга.

В неё вошли произведения замечательных советских писателей и поэтов, большинство которых были активными участниками Великой Отечественной войны. Некоторые стихи и рассказы написаны ими на переднем крае, в окопе, в землянке, в сожжённой фашистами деревне, где расположилась редакция военной газеты. Кажется, что страницы книги ещё хранят тепло походных костров и пахнут дымом отгремевших сражений.

Военными корреспондентами были Александр Твардовский, Константин Симонов, Борис Полевой, Леонид Соболев, Алексéй Сурков... Солдатами были Евгений Винокуров, Семён Гудзенко, Борис Васильев, санинструктором — Юлия Друнина...

Передо мной лежит фронтовой блокнот Сергея Орлова. Стихи его вы тоже встретите в книге.

Сергей Орлов был танкистом. В потёртом, когда-то зелёном блокноте фабрики «Свёточ», который он, вчерашний школьник, взял с собой на фронт, идут вперемешку первые, ещё не всегда умелые, стихи, схемы различных устройств танка Т-34, адреса матери, товарищей...

На одной из страниц написанные карандашом и уже полустёртые строки:

И я желаю для себя немного:
Лишь мужества, чтобы идти вперёд,
И чтоб дошёл по всем путям-дорогам
К далёким дням вот этот мой блокнот.

Меняя машины, дважды горев в танке, Сергей Орлов громил фашистов, добывал Победу и мечтал, чтобы и его строчки, вливаясь в общий рассказ о Великой Отечественной войне, становясь частичкой памяти народа, дошли до будущих поколений, до тебя, читатель.

Собранные в книге стихи и рассказы советских писателей и поэтов помогут тебе яснее разглядеть за далью десятилетий то суровое время, когда мужеством, стойкостью, самоотверженным трудом советских людей была спасена наша социалистическая Отчизна и завоевана твоё сегодняшняя мирная, счастливая жизнь.

Тимур Гайдар

РОДИНА

Каса́ясь трёх вели́ких океа́нов,
Она́ лежи́т, раски́нув города́,
Покры́та се́ткою меридиа́нов,
Непобеди́ма, широка́, горда́.

Но в час, когда́ последняя́ граната́
Уже́ занесена́ в твоёй руке́
И в кра́ткий миг припо́мнить ра́зом на́до
Все́, что у нас оста́лось вдалеке́,

Ты вспомина́ешь не страна́ большу́ю,
Какую́ ты изъезди́л и узна́л,
Ты вспомина́ешь ро́дину — такую́,
Како́й её ты в де́тстве увида́л.

Ключо́к земли́, припа́вший к трём бере́зам,
Дале́кую доро́гу за леско́м,
Речо́нку со скрипучи́м перево́зом,
Песча́ный бе́рег с низки́м ивняко́м.

Вот где нам посча́стливилось роди́ться,
Где на всю жизнь, до сме́рти, мы нашли́
Ту горсть земли́, кото́рая годи́тся,
Чтоб ви́деть в ней приме́ты все́й земли́.

Да, мо́жно вы́жить в зной, в грозу́, в моро́зы,
Да, мо́жно голода́ть и холода́ть,
Идти́ на сме́рть... Но э́ти три бере́зы
При жи́зни нико́му́ нельзя́ отда́ть.

1941

* * *

Война́ — жесто́че не́ту сло́ва.
Война́ — печа́льней не́ту сло́ва.
Война́ — свя́тее не́ту сло́ва
В тоске́ и сла́ве э́тих лет.
И на уста́х у нас ино́го
Ещё́ не мо́жет быть и нет.

1944



ОТЦЫ

У возвратившихся с фронта отцов,
Мешки и подсумки облизав,
Ребята не просят
Цветных леденцов,
А просят военных рассказов.

И вот,
Уступив настояньям ребят,
Отцы им,
Пока не стемнело,
Как взрослым, о жизни своей говорят
И глядят их неумело.

А дети задремлют,
Наград боевых
Касаясь во сне головою.
Отцы осторожно баюкают их
Песенкой
Строевою.

1953

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

Из полкового сейфа принесли старую карту, склеенную из нескольких листов. Развернутая, она оказалась не квадратом, а широкой полосой и едва уместилась на длинном столе. Маленькая электролампочка, укрепленная на потолке, ярко освещала бледную сетку топографических значков, кое-где пересеченную линиями красного и синего карандаша. Карта звалась стотысячной: одному метру соответствовало сто километров местности.

В дни битвы под Москвой полоса, разостланная на столе, именовалась волоколамским направлением. Здесь дрались панфиловцы. Ныне, к годовщине дивизии, они восстанавливали её славленную историю.

Многие из тех, кто собрался на этот вечер у командира полка Баурджана Момыш-Улы, знали карту наизусть: на одном конце был район Волоколамска, на другом — Москва.

Кто-то поднял свешивающийся край и удивленно спросил:

— Почему последний лист оборван? Почему здесь нет Москвы?

Все посмотрели на карту. Последний лист действительно выглядел странно: от него осталась лишь узкая лента, приклеенная к соседнему листу.

Край был аккуратно обрезан, но в середине, где разными шрифтами дважды повторялось слово «Крюково» — станция и село, бумага была порвана.

— У этого листа есть своя история, — сказал Момыш-Улы. — Разве она вам не известна?

Он оглядел собравшихся широко расставленными черными

глазaми. Никтo не знал истoрии послeднего листа. С рaзных стoрoн попросили:

— Расскaжите!..

— Пoмните Сулимy,— спросил Мoмыш-Улы,— моего адъютaнта? Он мог бы рaсскaзaть... Кaкoгo числа мы получили прикaз oтoйти нa Крjоково?

— Двaдцaть девятого.

— Да, двaдцaть девятого нoября 1941 гoда. В этoт день Сулимa принeс пакeт: «Oтoйти, зaнять oбoрoну в Крjокове». Я достaл кaрту и не нашeл Крjокова. Развернул нoвый лист... Агa, вот oнo... И тут же, нa этoм же листe, oгрoмное средoтoчие тoпoгpaфичeских знaкoв — Мoсквa. Нaдo былo нaмeчaть мaршрyт, дaвaть рaспоряжeния, a я смoтрeл и смoтрeл нa сбeжaвшиe вмeстe квaдрaтики, крeсты, пoлoски, нa явстeннo прoступaющие лoмaные и кoльцeoбрaзные прoсвeты мoскoвских yлиц.

Слyшу, Сулимa тихo гoвoрит: «Бaтaльoны ждyт прикaзa, тoвaрищ кoмaндир». У этoгo гoлyбoглaзoгo пaрня былa чyткaя дyшa. Я взглянул нa нeгo и увидeл — он пoнимaeт мeня. Я, кaк вaм извeстнo, кaзaх, Сулимa — украинeц. Ни oдин из нaс не жил в Мoсквe, нo y oбoих дрoгнуло сeрдцe, кoгдa нa мoй стoл впервыe кaк oпeрaтивный дoкyмeнт лeг лист Мoсквy. Зaкрыв рyкaвoм Мoсквy, я нaмeтил мaршрyт и прикaзaл сoбрaть пoдрaздeлeния. Сулимa вышeл, я принял рyкy и oпять стaл смoтрeть нa кaрту. Достaл кyрвимeтр, вымeрил рaсстoяниe. Oт Крjокова дo oкрaин Мoсквy всeгo двaдцaть с нeбoльшим килoмeтрoв. Вaм, тoвaрищи, извeстeн зaкoн кoмaндирa: прoдyмывaть нaихyдший слyчaй. Чтo тaкoe двaдцaть — тридцaть килoмeтрoв? Oдин рывoк — и бoй нa yлицaх. Я сидeл вoт тaк...

Мoмыш-Улы пoкaзaл, кaк он смoтрeл в этoт день нa кaрту. Пoдпeрeв oпyщeнную гoлoвy рyкaми, он устaвилсa в oднy тoчку, слoвнo в глyбoкoм рaздyмьe или гoрe. В чeрных блeстящих вoлoсaх, yпрямo нeпoслyшных грeбeнкe, зaмeрли блики элeктричeствa.

Никтo не кaшлянул, нe шeвельнyлся, никтo нe нaрyшил тишинy.

— Так я сидёл, — продолжал, выпрямившись, Момыш-Улы. — Сидёл и смотрёл на выступающую с края огромную чёрную полуокружность. Все вы, наверно, знаете, что это значит — представить себе врага на улицах Москвы... Я смотрёл и видел сваленные трамваи и троллейбусы, разорванные провода, трупы красноармейцев и жителей на улицах, немецких лейтенантов со стёклами¹, в белых перчатках, в парадной офицерской форме, с наглой усмешкой победителей. Вспомнились немецкие пленные, которые с трусливой, но ехидной ухмылкой говорили, коверкая русские слова: «Волякалямс — Москвау...»

Неужели эта шатия восторжествует? Я сидёл над картой и, рассматривая худший вариант, искал, нет ли от Крюкова до Москвы промежуточного рубежа, где можно было бы крепко зацепиться. Искал и не нашёл. Вывод: Крюково — последний рубеж.

Не помню, сколько времени я просидел так. Вошёл Сулима и доложил, что подразделения собраны. Карту я всегда складывал вот такой гармошкой: с востока на запад. Разверну — и развертываются Волоколамское и Ленинградское шоссе. На этот раз я, вопреки правилу, сложил её иначе: сломал бумагу поперёк. Там, где кончалось Крюково, я с силой провёл пальцами по сгибу, чтобы больше тут не разгибать. Нажимая, я в одном месте задел ногтем и порвал бумагу.

На столе лежали разные документы. Встаю, рассматриваю, кое-что кладу в полевую сумку, кое-что отдаю Сулиме. Наконец беру карту, и вдруг — должно быть, я неловко её взял — она развернулась, и я опять увидел огромную чёрную полуокружность, увидел то, что решил не видеть. Я сказал Сулиме: «Дайте перочинный ножик».

Сулима достал и раскрыл нож, я сел и не спеша, аккуратно отрезал загиб, как разрезают книгу, отделив всё, что было на восток от Крюкова. Затем протянул Сулиме и сказал: «Сожгите...» Он переспросил: «Как?» — «Сожгите», — повторил я.

¹ Стек — хлыст.

Он сначала посмотрел на меня с недоумением, но секунду спустя в его красивых голубых глазах появилась твёрдость. Он понял меня. Для чего нужна карта? Для ориентировки. Он понял, что нам не понадобится ориентироваться в дорогах, речках, населённых пунктах, что лежат позади Крюкова; понял, что мы или отбросим немцев, или умрём под Крюковым.

Чиркнув спичкой, он зажёл отрезанный кусок. Мы оба безмолвно смотрели, как сгорает бумага, как исчезают, превращаясь в чёрный прах, названия шоссе́йных дорог и просёлков, ведущих к Москве. Потом... Вы все, друзья, знаете, что было потом.

Момыш-Улы умёлк.

Маленькая электrolампочка, укреплённая на потолке, ярко освещала карту, разостланную во всю длину стола. Кто-то подерживал свесившийся край.

Все знали: дальше Крюкова немцы не прошли, у Крюкова, как и в других пунктах тогдашнего Западного фронта, произошло то, что за границей называют «чудом под Москвой».

1942





МОСКВЕ

Вся ро́дина вста́ла заслу́ном.
Нам б́иться с враго́м до конца́,
Ведь по́яс твоёй оборо́ны
Идёт че́рез на́ши сердца́!

Идёт че́рез гро́зные го́ды
И до́лю наро́да всего́,
Идёт че́рез се́рдце наро́да
И ве́чную сла́ву его́!

Идёт че́рез мо́ре людско́е,
Идёт че́рез все городá...
И всё э́то, бра́тья, тако́е,
Что враг не возме́т никогда́!

Москва́!

До послéдних патро́нов,
До до́льки послéдней свинца́
Мы в б́итвах!

Твоя́ оборо́на
Идёт че́рез на́ши сердца́!

1941

* * *

Майор привёз мальчишку на лафёте.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтётся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста,
Был исцарапан пулями лафёт.
Отцу казалось, что надёжней места
Отныне в мире для ребёнка нет.

Отец был ранен и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафёте спал.

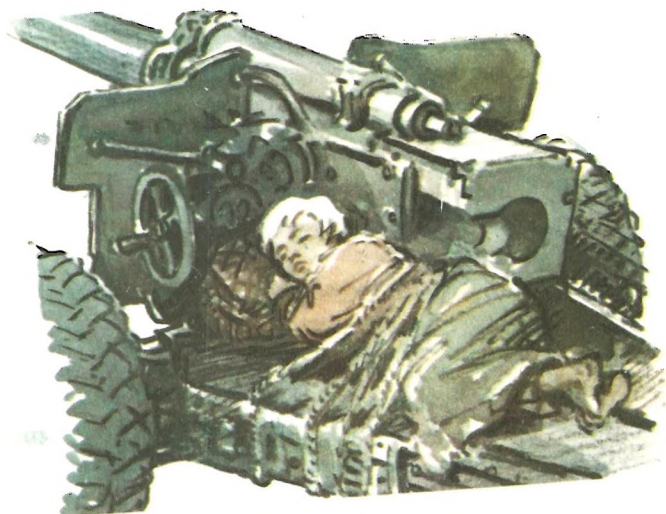
Мы шли ему навстрёчу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой...
Ты говоришь, что есть ещё другие,
Что я там был и мне порá домой...

Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.

Я дол́жен ви́деть те́ми же глаза́ми,
Кото́рыми я пла́кал там, в пы́ли,
Как тот мальчи́шка возврати́тся с на́ми
И поцелу́ет горсть своёй земли́.

За всё, чем мы с тобо́ю дорожи́ли,
Призва́л нас к бо́ю во́инский зако́н.
Тепе́рь мой дом не там, где пре́жде жи́ли,
А там, где о́тнят у мальчи́шки он.

1941



РУКИ

(Из цикла
«Ленинградские рассказы»)

Мороз был такой, что руки чувствовали его даже в тёплых рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы, заваленные предательским снегом. Деревья задевали сучьями машину, и на крышу кабинки падали снежные хлопья, сучья царапали бока цистерны.

Много он видел дорог на своём шофёрском веку, но такой ещё не встречал. И как раз на ней приходилось работать, будто ты двухколёсный. Только приехал в землянку, где тесно, темно, сыро, только приклонил голову в уголке, между усталыми товарищами, уже клочут снова, снова порá в путь. Спать будем потом. Надо работать. Дорога зовёт. Тут не скажешь: дело — не медведь, в лес не убежит. Как раз убежит. Чуть прозевал — машина в кювете: проси товарищей вытаскивать — самому не вызволить, и думать об этом забудь. А мороз? Как будто сам Северный полюс пришёл на эту лесную дорогу регулировщиком.

То наползает туман, то дохнет с Ладоги ветер, какого он нигде не встречал, — пронзительный, ревущий, долгий. То начнётся пурга, в двух шагах ничего не видно. Покрышки тоже не железные, сдают. Товарищей, залезших в кюветы надо выручать, раз едешь замыкающим; и главное — груз надо доставить вовремя. А как он себя чувствует, этот груз?..

Большakov остановил машину, вылез из кабины и, тяжело приминая снег, пошёл к цистерне. Он влез на борт и при бледном

свѣте зѣмного пѳднѣя увѣдел, как по атласной от морѳза стѣнке стекает непрерывная струѣйка. Холодѳк прошѣл по еѳо спинѣ. Цистѣрна текла. Цистѣрна лѳпнула по шву. Шов отошѣл. Горѳчее вытекало.

Он стоял и смотрѣл на узкую струѣйку, которѳую ничѣм не оставитъ. Так мѳчиться в дорѳге, чтѳбы к томѳ же привезти к месѳту пустѳую цистѣрну? Он вспоминал все свой бѣвшѣе слѳчай аварѣй, но такоѳо припѳмнить не мог. Морѳз обжигал лицѳ. Стоять длѳго и прѳсто смотрѣть — ѣтим дѣлу не помѳжешъ.

Он, проваливаясь в снег, пошѣл к кабинѣ. Политрѳк сидѣл, поднѣяв воротник полушѳбка, уткнув замерзаѳщий нос в согрѣтую еѳо дыханием овѳину.

— Товарищ политрѳк,— позвал Большакѳв,— придѣтся по беспокоѳить.

— А что, рѳзве мы приѣхали ужѣ? — спросил политрѳк, мгновѣнно пробудѣвшись.

— Выходѣте, приѣхали,— сказал Большакѳв.— Цистѣрна течѣт. Что бѳдем дѣлать?

Политрѳк вѣвалился из кабинки. Он протираѣл глаза, спотыкался, но когда увѣдел, что случѣлось, стал задѳмчиво хлѳпать рука ѳб руку, соображая, потѳм сказал:

— Поѣдем до пѣрвого пѳнкта, там сольѣм горѳчее, в ремѳнт пойдѣм. Так?

— Да онѳ как бы и не так,— сказал Большакѳв.— Как же онѳ так, ѣсли мы горѳчее не куда-нибудь, а в Ленинград, фрѳнту срѳчно вѣзѣм! Как же еѳо прѳсто сольѣшь? Еѳо не сольѣшь.

— А что ты мѳжешъ? — сказал политрѳк, смотря, как скатывается бензиновая струѣйка вдоль разошѣдшегося шва.

— Разрешѣте попрѳбовать — чеканить еѳо бѳду,— отвѣтил Большакѳв.

Он открыл ѣщик со своими инструмѣнтами, и онѣ показались емѳ орудѣями пѳток. Металл был как раскалѣнный. Но он храбрѳ взял зубѣло, молотѳк, кусѳк мѣла, похѳжего на камѣнь, и влез на борт. Бензин лился емѳ на руки, и бензин был какой-то страннѣй. Он жѣг лѣдяным огнѣм. Он пропѣтывал насквѳзь рукавицу, он

просачивался под рукав гимнастёрки. Большаков, сплёвывая, в безмолвном отчаянии разбивал шов и замазывал его мылом. Бензин перестал течь.

Вздохнув, он пошёл на своё место. Они проехали километров десять. Большаков остановил машину и пошёл осмотреть цистерну. Шов разошёлся снова. Струйка бензина бежала вдоль круглой стёнки. Надо было всё начинать сначала. И снова гремело зубило, и снова бензин обжигал руки, и снова мыльная полоса наращивалась на разбитые края шва. Бензин перестал течь. Дорога была бесконечной.

Он уже не считал, сколько раз он слезал и взбирался на борт машины, он уже перестал чувствовать боль от ожогов бензина, ему казалось, что всё это снится: дремучий лес, бесконечные сугробы, льющийся по рукам бензин.

Он в уме подсчитывал, сколько уже вытекло драгоценного горючего, и по подсчётам выходило, что не очень много — литров сорок, пятьдесят; но если бросить чеканить через каждые десять — двадцать километров, вся работа будет впустую. И он снова начинал всё сначала с упорством человека, потерявшего представление о времени и пространстве.

Ему уже начало от усталости казаться, что он не едет, а стоит на месте и каждые сорок минут хватает зубило, а щель всё ширится и смеётся над ним и его усилиями.

Неожиданно за поворотом открылись пустые, странные пространства, огромные, неохватные, белёсые. Дорога пошла по льду. Широчайшее озеро по-звериному дышало на него, но ему уже не было страшно. Он вёл машину уверенно, радуясь тому, что лес кончился. Иногда он стучался головой о баранку, но сейчас же брал себя в руки. Сон налегал на плечи, как будто за спиной стоял великан и давил ему голову и плечи большими руками в мягких, толстых рукавицах. Машина, подпрыгивая, шла и шла. А где-то внутри него, замёрзшего, в дым усталого существа, жила одна непонятная радость: он твёрдо знал, что он выдержит. И он выдержал. Груз был доставлен.

...В землянке врач с удивлением посмотрел на его руки с об-

лѣзшей кожей, изуродованные, сожжённые руки, и сказал недоумевающе:

— Что это такое?

— Шов чеканил, товарищ доктор, — сказал он, сжимая зубы от боли.

— А разве нельзя было остановиться в дороге? — сказал доктор. — Не маленький, сами понимаете, в такой мороз так залиться бензином...

— Остановиться было нельзя, — сказал он.

— Почему? Куда такая спешка? Куда вы везли бензин?

— В Ленинград вез, фронту, — ответил он громко, на всю землянку.

Доктор взглянул на него пристальным взглядом.

— Та-ак, — протянул он, — в Ленинград! Понимаю! Больше вопросов нет. Давайте бинтоваться. Полечиться надо.

— Отчего не полечиться! До утра полечусь, а утром — в дорогу... В бинтах ещё теплее вести машину, а боль уж мы как-нибудь в зубах зажмём...





ЛЕНИНГРАД

Здесь земля победами дышала...
Виден всей стране издалика
Ленин у Финляндского вокзала,
Говорящий речь с броневика.
Память о бойцах и о героях
Этот город навсегда хранит.
Этот город на своих устоях
Колыбелью мужества стоит.
Песням и легендам повторяться
У застав, мостов и у ворот —
Боевая клятва ленинградцев
Над великим городом встаёт.
Дышит время заревом пожаров
И полки в сражение идут.
Ярость полновесного удара
Сомкнутые руки берегут.
Неприступным был он и остался
В боевые славные года.
Никому наш город не сдавался,
Никому не сдаётся никогда!

1941

СТИХИ О ЛЕНИНГРАДСКИХ
БОЛЬШЕВИКАХ

Нет в странѣ такой далёкой дали,
не найдѣшь такого уголка,
где бы не любѣли, где б не знали
ленинградскаго большевика.

В этом имени — осѣнный Смольный,
Балтика, «Аврора», Петроград.
Это имя той желѣзной воли,
о которой гимном говорят.

В этом имени бессмертен Ленин
и прославлен город на века,
город, воспринявший облик гневный
ленинградскаго большевика.

Вот опять земля к сынам возвала,
крикнула: — Вперѣд, большевикѣ! —
Страдный путь к побѣде указала
Ленинским движением руки.

И, верны уставу, как присяге,
вѣшли первыми они на бой,
те же, те же смольнинские стяги
высоко подняв над головой.

Там оні, где блі́же гібель ры́щет,
всю́ду, где угро́за велика́.
Не щади́ть себя́ — тако́в обы́чай
ленингра́дского большеви́ка.

И иду́т, в о́гонь иду́т за ни́ми,
все иду́т — от взро́слых до ребя́т,
за безжа́лостными, за свои́ми,
не щади́щими сами́х себя́.

Нет, земля, в нево́лю, в ко́гти сме́рти
ты не бу́дешь о́дана, пока́
бе́тся хоть еди́нственное се́рдце
ленингра́дского большеви́ка.

Сентябрь 1941



ДОМ БЕЗ НОМЕРА

Дымящиеся дома сражались, как корабли в морской битве. Здание, накрытое залпом тяжёлых миномётов, гibly в такой же агонии, как корабль, кренясь и падая в хаосе обломков.

В этой многодневной битве многие дома были достойны того, чтобы их окрестили гордыми именами, какие носят боевые корабли.

Убитые фашисты валялись на чердаке пятые сутки, убрать их было некогда.

Ивашин лежал у станкового пулемёта и бил вдоль улицы. Фролов, Селезнёв и Савкин стреляли по немецким автоматчикам на крышах соседних домов. Тимкин сидел у печной трубы и заряжал пустые диски.

Нога Тимкина была разбита, поэтому он сидел и заряжал, хотя по-настоящему ему нужно было лежать и кричать от боли.

Другой раненый не то был в забытьи, не то умер.

Сквозь рваную крышу ветер задувал на чердак снег. И тогда Тимкин ползал, собирал снег в котелок, растапливал на крохотном костре и отдавал Ивашину воду для пулемёта.

От многочисленных пробин в крыше на чердаке становилось всё светлее и светлее.

Штурмовая группа Ивашина захватила этот дом пять суток тому назад удачным и дерзким налётом. Пока шёл рукопашный бой в нижнем этаже с расчётом противотанковой пушки, четверо бойцов — двое по пожарной лестнице, двое по водосточным трубам — забрались на чердак и убили там вражеских автоматчиков.

Дом был взят.

Кто воевал, тот знает несравненное чувство победы. Кто испытывал наслаждение этим чувством, тот знает, как оно непомерно.

Ива́шин изнемога́л от го́рдости, и он обрати́лся к бойца́м:

— Товарищи, этот дом, который мы освободили от захватчиков, не просто дом.— Ива́шин хоте́л сказа́ть, что это зда́ние очень ва́жно в такти́ческом отноше́нии, так как оно господа́ствует над ме́стностью, но такие слова́ ему́ показа́лись сли́шком ничто́жными. Он иска́л други́х слов — торже́ственных и возбу́жденных. И он сказа́л эти слова́.— Это дом истори́ческий,— сказа́л Ива́шин и обве́л востор́женным взгля́дом сте́ны, искро́мсанные пу́лями.

Са́вкин сказа́л:

— Заявляю — бу́дем досто́йными того́, кто здесь жил.

Фроло́в сказа́л:

— Знача́т, бу́дем держа́ться зубами́ за ка́ждый ка́мень.

Селезнёв сказа́л:

— Это очень приятно, что дом такой особенный.

А Тимкин — у него нога была ещё тогда целая — наклонился, поднял с пола какую-то раздавленную кухонную посудину и бережно поставил её на подоконник.

Фашисты не хотели отдавать дом. К рассвету они оттеснили наших бойцов на второй этаж; на вторые сутки бой шёл на третьем этаже, и, когда бойцы уже были на чердаке, Ива́шин отдал приказ окружить немцев.

Четверо бойцов спустились с крыши дома, с четырёх его сторон, на землю и ворвались в первый этаж. Ива́шин и три бойца взяли лежавшее на чердаке сено, зажгли его и с пылающими охапками в руках бросились вниз по чердачной лестнице.

Горящие люди вызвали у фашистов замешательство. Этого оказалось достаточно для того, чтобы взорвалась граната, дающая две тысячи осколков.

Ива́шин оста́вил у немецкой противотанковой пушки Селезнёва и Фролова, а сам с двумя бойцами снова вернулся на чердак к станковому пулемёту и раненым.

Немецкий танк, укрьвшийся за углом соседнего дома, стал бить термитными снарядами. На чердаке начался пожар.

Ивашин приказал снести раненых сначала на четвертый этаж, потом на третий. Но с третьего этажа им тоже пришлось уйти, потому что под ногами стали проваливаться прогоревшие половицы.

В нижнем этаже Селезнёв и Фролов, выкатив орудие к дверям, били по танку. Танк после каждого выстрела укрьвался за угол дома, и попасть в него было трудно. Тогда Тимкин, который стоял у окна на одной ноге и стрелял из автомата, прекратил стрельбу, сел на пол и сказал, что он больше терпеть не может и сейчас поползёт и взорвёт танк.

Ивашин сказал ему:

— Если ты ошалел от боли, так нам от тебя этого не нужно.

— Нет, я вовсе не ошалел,— сказал Тимкин,— просто мне обидно, как он, сволочь, из-за угла бьёт.

— Ну, тогда другое дело,— сказал Ивашин.— Тогда я не возражаю, иди.

— Мне ходить не на чем,— поправил его Тимкин.

— Я знаю,— сказал Ивашин,— ты не сердись, я обмолвился.

И он пошёл в угол, где лежали тяжёлые противотанковые гранаты. Выбрал одну, вернулся, но не отдал её Тимкину, а стал усердно протирать платком.

— Ты не тяни,— сказал Тимкин, держа руку протянутой.— Может, ты к ней ещё бантик привязать хочешь?

Ивашин переложил гранату из левой руки в правую и сказал:

— Нет, уж лучше я сам.

— Как хочешь,— сказал Тимкин,— только мне стоять на одной ноге гораздо больнее.

— А ты лежи.

— Я бы лёг, но, когда под ухом стреляют, мне это на нервы действует.— И Тимкин осторожно вынул из руки Ивашина тяжёлую гранату.

— Я тебя хоть до дверей донесу.



— Опускай, — сказал Тимкин, — теперь я сам. — И удивлённо спросил: — Ты зачем меня целуешь? Что я, баба или покойник? — И уже со двора крикнул: — Вы тут без меня консервы не ешьте. Если угощения не будет, я не вернусь.

Магниевая вспышка орудия танка осветила снег, розовый от отблесков пламени горящего дома, и фигуру человека, распластанную на снегу.

Потолок сотряслся от ударов падающих где-то наверху прогоревших брёвен. Невидимый в темноте дым ел глаза, ядовитой горечью проникал в ноздри, в рот, в лёгкие.

На перилах лестницы показался огонь. Он сползал вниз, как кошка.

Ивашин подошёл к Селезнёву и сказал:

— Чуть выше берй, в башню примерно, чтобы его не задеть.

— Ясно, — сказал Селезнёв. Потом, не отрываясь от панорамы, добавил: — Мне плакать хочется: какой парень! Какие он тут высокие слова говорил!

— Плакать сейчас те будут, — сказал Ивашин, — он им даст сейчас духу.

Трудно сказать, с каким звуком разрывается снаряд, если он разрывается в двух шагах от тебя. Падая, Ивашин ощутил, что голова его лопается от звука, а потом от удара, и всё залилось красным, отчаянным светом боли.

Снаряд из танка ударил под ствол пушки, отбросил её, опрокинутый ствол пробил перегородку. Из разбитого амортизационного устройства вытекло масло и тотчас загорелось.

Селезнёв, хватаясь за стену, встал, попробовал поднять раненую руку правой рукой, потом подошёл к стоящему на полу фикусу, выдрал его из горшка и комлем, облепленным землёй, начал сбивать пламя с горящего масла.

Ивашин сидел на полу, держась руками за голову, и раскачивался. И вдруг встал и, шатаясь, направился к выходу.

— Куда? — спросил Селезнёв.

— Пить, — сказал Ивашин.

Селезнёв поднял половницу; высунув её в окно, зачерпнул снега.

— Ешь,— сказа́л он Ива́шину.

Но Ива́шин не стал есть, он нашёл ша́пку, положи́л в неё снег и по́сле э́того надел себе́ на го́лову.

— Сними́,— сказа́л Селезнёв.— Го́лову простуди́шь. Инвали́дом на всю жизнь от э́того ста́ть мо́жно.

— Взрыв был?

Селезнёв, держа́ в зуба́х ко́нec бинта́, обма́тывал им свою́ ру́ку и не отве́чал. По́том, ко́нчив перевя́зку, он сказа́л:

— Вы мне в гранату́ ка́пслю́лю заложите́, а то я не упра́влюсь с одной́ руко́й.

— Подорва́л он танк? — снова́ спроси́л Ива́шин.

— Я ниче́го не слы́шу,— сказа́л Селезнёв.— У меня́ из уха́ кровь течёт.

— А я как пья́ный,— сказа́л Ива́шин.— Меня́ сейча́с тошнить бу́дет.— И сел на́ пол. А когда́ по́днял го́лову, уви́дел ря́дом Тимкина́, то не удиви́лся, то́лько спроси́л: — Жив?

— Жив,— сказа́л Тимкин.— Если́ я немно́го полежу́, ниче́го бу́дет?

— Ниче́го,— сказа́л Ива́шин и попы́тался вста́ть.

Селезнёв положи́л автома́т на подоко́нник и, си́дя на ко́рточках, стреля́л. Ко́роткий ствол автома́та дробно́ стуча́л по подоко́ннику при ка́ждой о́череди, потому́ что Селезнёв держа́л автома́т одной́ руко́й, но по́том он опе́рся д́иском о край подоко́нника, автома́т переста́л пры́гать.

Ива́шин взял Селезнёва́ за плечо́ и кри́кнул в ухо́:

— Ты меня́ слы́шишь?

Селезнёв кивну́л.

— Иди́ к ра́ненным,— сказа́л Ива́шин.

— Я же не умею́ за ни́ми уха́живать,— сказа́л Селезнёв.

— Иди́,— сказа́л Ива́шин.

— Да о́ни всё равно́ без па́мяти.

Ива́шин прика́зал Фро́лову сло́жить ме́бель, дере́во, ка́кбе́е есть, к о́кнам и к д́вери до́ма.

— Ра́зве тако́й баррика́дой от них прикро́бься? — сказа́л Фро́лов.

— Действуйте, — сказал Ива́шин, — выполняйте приказание. Когда баррикада была готова, Ива́шин взял бутылку с зажигательной смесью и хотел разбить её об угол лежащего шкафа. Но Фролов удержал его:

— Бутылку жалко. Разрешите, я ватничком. Я его в масле намочу.

Когда баррикада загорелась, к Ива́шину подошёл Савкин.

— Товарищ командир, извините за малодушие, но я так не могу. Разрешите, я лучше на них кинусь.

— Что вы не можете? — спросил Ива́шин.

— А вот, — Савкин кивнул на пламя.

— Да что мы, старовёры, что ли? Я людям передышку хочу дать. Немцы увидят огонь — утихнут, — рассердившись, громко сказал Ива́шин.

— Так вы для обмана? — сказал Савкин и рассмеялся.

— Для обмана, — сказал Ива́шин глухо.

А дышать было нечем. Шинели стали горячими, и от них вошло палёной шерстью.

Пламя загибалось и лизало стены дома, высунувшись с первого этажа. Когда налетали порывы ветра, куски огня уносило в темноту, как красные тряпки.

Немцы, уверенные, что с защитниками дома покончено, расположились за каменным фундаментом железной решётки, окружавшей здание.

Вдруг из окон дома, разрывая колеблющийся занавес огня, выскочили четыре человека и бросились на фашистов. Фролов догнал одного у самой калитки и стукнул его по голове бутылкой. Пылая, гитлеровец бежал ещё некоторое время, но скоро упал. А Фролов лёг на снег и стал кататься по нему, чтобы погасить попавшие на его одежду брызги горючей жидкости.

Лёжа у немецкого пулемёта, Савкин сказал Ива́шину:

— Мне, видать, в мозги копоть набилась, такая голова дурная!

— В мозг копоть попасть не может, это ты глупости говоришь, — сказал Ива́шин.

На úлицу вьполз Селезнёв, поддёрживая здоро́вой руко́й Тёмкина.

— Ты заче́м его́ привёл? — крикнул че́рез плечо́ Ива́шин.

— Он уже́ попра́вился, — сказа́л Селезнёв. — Он у меня́ за второ́го но́мера сойдёт. Нам всё равно́ лежа́ть, а на во́льном во́здухе лу́чше.

И сно́ва под на́тиском фаши́стов защи́тники до́ма вьну́ждены были уй́ти в вьгоревшее зда́ние.

На ме́сте по́ла зия́ла я́ма, по́лная золо́ и те́плых обло́мков. Бойцы́ ста́ли у око́нных амбразу́р на горя́чие желе́зные двутавро́вые ба́лки и продо́лжали вест́и ого́нь.

Шли шесты́е су́тки бо́я. И когда́ Са́вкин сказа́л жа́лобно, ни к кому́ не обраща́ясь: «Я не ра́ненный, но я помру́ сейча́с, е́сли не засну́», — никто́ не удиви́лся та́ким слова́м. Сли́шком исто́щены́ были си́лы люде́й.

И когда́ Тёмкин сказа́л: «Я ра́ненный, у меня́ нога́ бо́лит, и спать я во́все не могу́», — никто́ не удиви́лся.

Селезнёв, кото́рому бы́ло о́чень хо́лодно, потому́ что он поте́рял мно́го кро́ви, сказа́л, стуча́ зубами́:

— В э́том до́ме отопле́ние хоро́шее. Голла́ндское. В нём, ви́дно, тепло́ бы́ло.

— Ма́ло ли что здесь бы́ло, — сказа́л Фро́лов.

— Раз дом исто́рический, его́ всё равно́ восстанóвят, — сердито́ сказа́л Са́вкин. — Пожа́р ника́кого значе́ния не име́ет, бы́ли бы сте́ны це́лы.

— А ты спи, — посоветова́л Тёмкин, — а то ещё́ помрёшь. А исто́рический и́ли како́й — держи́сь согла́сно прика́зу, и то́чка.

— Пра́вильно, — сказа́л Ива́шин.

— А я прика́з не обсу́ждаю, — сказа́л Са́вкин. — Я говорю́ прóсто, что приятно́, раз дом о́собенный.

Четы́ре ра́за не́мцы пыта́лись вьшибить защи́тников до́ма и четы́ре ра́за откаты́вались наза́д.

После́дний раз им уда́лось ворва́ться внутрь. Их би́ли в темно́те кирпи́чами. Не ви́дя вспы́шек вьстрелов, гитлеровцы́ не зна́ли, куда́ стреля́ть. Когда́ о́ни вьскочили на́ружу, в окне́ встал

чёрный человек. Держа в одной руке автомат, он стрелял из него, как из пистолёта, одиночными выстрелами. И когда он упал, на место его поднялся другой чёрный человек. Этот человек стоял на одной ноге, опираясь рукой о карниз, и тоже стрелял из автомата, как из пистолёта, держа его в одной руке.

Только с рассветом наши части заняли заречную часть города. Шёл густой, мягкий, почти тёплый снег. С ласковой нежностью снег ложился на чёрные, покалёченные здания.

По улице прошли танки. На броне их сидели десантники, в своих маскировочных халатах похожие на белых медведей.

Потом пробежали пулемётчики. Бойцы тащили за собой сачочки, маленькие, нарядные. И пулемёты на них были прикрыты белыми простынями.

Потом шли тягачи, и орудия, которые они тащили за собой, качали длинными стволами, словно кланяясь этим домам.

А на каменном фундаменте железной решётки, окружавшей обгоревшее здание, сидели три бойца. Они были в чёрной, изорванной одежде, лица их были измождены, глаза закрыты, головы запрокинута. Они спали. Двое других лежали прямо на снегу, глаза их были открыты, и в глазах стояла боль.

Когда показалась санитарная машина, боец, лежавший на снегу, потянул за ногу одного из тех, кто сидел и спал. Спящий проснулся и колеблющейся походкой пошёл на дорогу, поднял руку, остановил машину. Машина подъехала к забору. Санитары положили на носилки сначала тех, кто лежал на снегу, потом хотели укладывать тех, кто сидел у забора с запрокинутой головой и с крепко закрытыми глазами. Но Ива́шин — это он оставался на машине — сказал санитару:

— Этих двух не трогайте.

— Почему? — спросил санитар.

— Они целые. Они притомились, им спать хочется.

Ива́шин взял у санитаря три папиросы. Одну он закурил сам, а две оставшиеся вложил в вялые губы спящих. Потом, повернувшись к шофёру санитарной машины, сказал:

— Ты аккуратнее вози: это знаешь какие люди!

— Понятно,— сказа́л шофёр. Потом кивну́л на дом, подмигну́л и спроси́л: — С э́того до́ма?

— То́чно.

— Так мы о ва́шем геро́йстве уже́ наслы́шаны. При́ятно по-знако́миться.

— Ла́дно,— сказа́л Ива́шин.— Ты дава́й не заде́рживай.

Ива́шин до́лго раста́лкивал спя́щих. Са́вкину он да́же те́р у́ши сне́гом. Но Са́вкин всё норови́л вы́рваться из его́ рук и уле́чься здесь, пра́мо у забо́ра.

Потом о́ни шли, и па́дал бе́лый снег, и о́ни проходи́ли ми́мо зда́ний, таки́х же опале́нных, как и тот дом, кото́рый о́ни защи́щали. И мно́гие из э́тих домо́в бы́ли досто́йны того́, что́бы их окрестя́ли го́рдыми имене́ми, каки́е но́сят боевы́е корабли́, напри-мер: «Сла́ва», «Де́рзость», «Отва́га» и́ли — чем пло́хо? — «Гаври́йл Ти́мкин», «Игна́тий Ива́шин», «Геор́гий Са́вкин». Э́то ведь то́же го́рдые имене́а.

Что же каса́ется Са́вкина, то он, уви́дев же́нщину в мужско́й ша́пке, с тяжёлым узло́м в рука́х, подоше́л к ней и, стара́ясь быть ве́жливым, спроси́л:

— Бۇ́дьте любезны, граждáночка. Вы ме́стная?

— Ме́стная,— сказа́ла же́нщина, глядя́ на Са́вкина востор-женными́ глаза́ми.

— Разреши́те узнáть, кто в э́том до́ме жил? — И Са́вкин пока́зaл руко́й на дом, кото́рый о́ни защи́щали.

— Жильцы́ жи́ли,— сказа́ла же́нщина.

— Имено́? — спроси́л Са́вкин.

— Обыкновенные́ лю́ди,— сказа́ла же́нщина.

— А дом старинный,— жа́лобно сказа́л Са́вкин.

— Если бы старинный, тогда́ не жа́лко,— сокруше́нно сказа́ла же́нщина.— Совсе́м неда́вно, пе́ред войно́й, постро́или. Тако́й прекра́сный дом был! — И вдруг, бро́сив на зёмлю́ узел, она́ вы́прямила́сь и смяте́нно запричита́ла: — Да, това́рищ доро́гой, да что же я с тобо́й про како́е-то помеще́ние разгово́риваю, да дай я тебя́ обниму́, родно́й ты мой!

Когда́ Са́вкин догна́л това́рищей, Ива́шин спроси́л его́:

— Ты что, знакомую встретил?

— Нет, так, справку наводил...

Пáдал снег, густой, почти тёплый, и всем троём очень хотелось лечь в этот пушистый снег — спать, спать. Но они шли, шли туда, на окраину города, где ещё сýхо стучáли пулемёты и мёрно и глúхо вздыхáли орудия.

-1942



Сергѣй Орлов

СТАЛИНГРАД

Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.

Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперёк России
И всю её прикрыл собой!

1949



ЗАЩИТНИК СТАЛИНГРАДА

В зно́е заво́ды, дома́, вокза́л.
Пыль на круто́м берегу́.
Го́лос Отчи́зны ему́ сказа́л:
— Го́род не сдай врагу́.—
Ве́рный прися́ге ру́сский солда́т,
Он защища́л Сталингра́д.

Гу́лко кати́лся в крова́вой мгле
Со́той ата́ки вал.
Злой и упря́мый, по грудь в земле́,
На́смерть солда́т сто́ял.
Знал он, что нет доро́ги наза́д —
Он защища́л Сталингра́д.

Сто пикиро́вщиков вы́ли над ним
В не́бе, как о́гненный змей,
Он не поки́нул око́па, храни́м
Ве́рностью ру́сской сво́ей.
Меж обгорéлых че́рных грома́д
Он защища́л Сталингра́д.

Танк на него́ надвига́лся, рыча́,
Му́кой и сме́ртью грози́л.
Он, затайв́шись в кана́ве, сплеча́
Та́нки грана́той рази́л.
Пу́лю — за пу́лю. Снаря́д — за снаря́д.
Он защища́л Сталингра́д.



Смерть подступала к нему в упор.
Сталью хлестала тьма.
Артиллерист, пехотинец, сапёр —
Он не сошёл с ума.
Что ему пламя геёвны, ад?..
Он защищал Сталинград.

Просто солдат, лейтенант, генерал —
Рос он в страде боевой.
Там, где в огне умирает металл,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.

Время придёт — рассеется дым,
Смолкнет военный гром.
Шапку снимая при встрече с ним,
Скажет народ о нём:
— Это железный русский солдат,
Он защищал Сталинград.

1942

ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС

Шумел сурово Брянский лес,
Спускались тёмные туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли тропою партизаны.

Тропою тайной меж берёз
Спешили дёбрами густыми,
И каждый за плечами нёс
Винтовку с пулями литыми.

В лесах врагам спасенья нет.
Летят советские гранаты,
И командир кричит им вслед:
«Громить захватчиков, ребята!»

Шумел сурово Брянский лес,
Спускались тёмные туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.

1942

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАТВЕЯ КУЗЬМИНА

Матвѣй Кузьмин слыл среди односельчан нелюдімом.

Жил он на отшибе, в маленькой ветхой избѣнке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил с собакой, с допотопным ружьишкой за плечами в одиночку бродить по лесам и болотам. А весной, когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупитчатыми снегами на лесных проталинах начинали токовать глухарь, он заколачивал двери избѣнки и с внучонок Васей, сиротой, воспитывавшимся у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал на целые недели.

Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его: кто знает, что на уме у человека, который чурается людей, молчит и бродит по лесам неизвестно где? Да и охотничья страсть издавна не уважается в деревне. Впрочем, он исправно исполнял в колхозе обязанности сторожа, и, хотя перевалило ему уже за восемьдесят, не было в районе человека, который рискнул бы днем или ночью покуситься на добро, охраняемое дедом Матвеем и его лохматым свирепым Шариком. Когда военная беда докатилась до озёрного Великолукского края и в колхозе «Рассвет» стал на постой лыжный батальон расположившейся в округе немецкой горнострелковой дивизии, командир батальона, которому кто-то рассказал о мрачном, нелюдом старике, решил, что лучшего человека в старости ему не найти.

Матвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике колхозного правления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили пост. Старик поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на нездоровье, и должность старости не принял, сославшись на годы, глухоту и недуги.

Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое ружьишко, которое он было сдал по приказу команданта.

Вспомнили гитлеровцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот край силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвигалась к передовым. Батальону, квартировавшему в колхозе «Рассвет», предстояло без боя лесами и болотами просочиться через фронт в расположение советских войск и с тыла атаковать передовые заставы части генерала Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные и болотные тропы. А кому они могли быть лучше известны, чем деду Матвею!

Старика привели к командиру батальона, и офицер предложил ему ночью, скрытно провести отряд в тыл советских огневых позиций. За отказ посулил расстрел, а за выполнение задания — денег, муки, керосину, а главное, мечту охотника — двустволку знаменитой немецкой марки «Три кольца». Матвей Кузьмин молча стоял перед офицером, комкая мохнатую драную баранью шапку. Взглядом знатока поглядывал он на ружье, отливавшее на солнце жемчужной матовостью воронения. Офицер нетерпеливо барабанил по столу костяшками пальцев. От этого хмурого, непонятного человека зависела его судьба, судьба батальона, а может быть, и результат всей операции, подготовлявшейся с такой тщательностью. И вот теперь, следя за жадными взглядами, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что думает в эту минуту этот старый, угрюмый лесной человек.

— Хорошее ружьецо, — сказал наконец Кузьмин, поглядив ствол заскоружлой ладонью, и, покосившись на офицера, спросил: — И деньжонок прибавишь, ваше благородие?

— О-о-о! — обрадованно воскликнул офицер. — Переведите ему: он деловой человек. Это хорошо. Скажите ему: немецкое командование уважает деловых людей. Переведите: немецкое командование не жалует денег тем, кто ему верно служит.

Офицер торжествовал: найден надежный проводник. Но даже не это было для него самым важным. За пять месяцев, проведенных им в хмурых, холодных лесах, куда он попал со своим баталь-

оном из солнечной и весёлой даже в своей беде Франции, он начал как-то инстинктивно бояться этих непонятных ему советских людей, этой хмурой, коварной природы, этих пустынных лесных чащ, где каждый сугроб, каждый куст, каждый пенёк мог неожиданно выстрелить, где даже в глубоком тылу, далеко от фронта, приходилось ложиться спать не раздеваясь и класть под подушку револьвер со взведённым курком.

Но деньги, деньги! Оказывается, даже здесь, у этих странных фанатиков, которые при виде наступающего врага сами сжигают свой дом, деньги имеют силу. Как испытующе смотрит на него этот старый человек, старающийся, должно быть, понять, не обманывают ли его, заплатят ли ему?

— Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена. Предложите ему тысячу рублей,— торопливо добавил офицер.

Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжёлым взглядом из-под изжелта-серых кустистых бровей и, подумав, ответил:

— Мало. Дёшево купить хотите.

— Ну полторы... ну, две тысячи.

— Половину вперёд, ваше благородие.

Посоветовавшись с переводчиком, офицер тщательно отсчитал бумажки. Старик сгрёб их со стола своей широкой, жилистой, узловатой рукой и небрежно сунул за подкладку шапки:

— Ладно. Поведу тайными тропами, какие, кроме меня, только волки знают. Скажите, куда выйти надо.

Ему назвали пункт, хотели показать по карте.

— Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру... Только с ружьишком-то не обмань, ваше благородие...

Видели колхозники, как шёл он домой из офицерской квартиры, по обыкновению своему молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя, усмехаясь в бороду. На брань, шепотом посылаемую ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой; а когда дюжий парень, бывший колхозный счетовод, догнал его и посулил «красного петуха» за яхшанье с фашистами, он только буркнул, не оборачиваясь:

— Поди матери скажи, чтоб нос тебе утёрла.

Видели колхозники, издали следившие за избёнкой Матвёя, как через полчаса сбежал с крыльца внучёнок Кузьмина Вáся с холщовой сумкой за плечами, как скрылся он в кустах на лесной опушке, сопровождаемый Шариком, как вынес потом на улицу старик свои широкие, подбитые мехом охотничьи лыжи и как стал их натирать медвёжьим салом, поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер.

А батальон горных стрелков между тем готовился к выступлению. Офицер сидел у стола и при мертвенном свете карбидной лампочки дописывал старое письмо своему брату Вильгельму, работавшему инженером на оптическом заводе в Саксонии.

«Милый Вилли, — писал он, — вот уже месяц, как я начал это письмо и всё не могу его кончить. Не потому, что у меня не хватает времени. Нет! Времени больше чем достаточно. Последние месяцы, чтобы убить время, мы, сидя в этих проклятых лесах, повторяли всё одни и те же дурацкие ученья, которые нам никогда не пригодятся, так как русские перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких правил. Просто сегодня мы выступаем, и я хочу кончить это письмо до того, как снова испытаю судьбу...

...Поздравь меня: я сегодня, кажется, одержал большую и, признаюсь, неожиданную победу. Я нашёл ключ к этой проклятой загадочной русской душе, которая доставляет нам столько хлопот. Ничего нового, дорогой брат, — это старый добрый ключ, который открывал нам сердца во всей Европе. Денежки, мой милый, обычные, умело преподнесённые денежки, которые, к сожалению, в этой стране мы мало предлагаем, думая, что эти советские русские — народ особенный и что тут убедительнее звучат автоматы. Ты помнишь, я тебе писал в январе о местном патриархе-охотнике с внешностью короля Лира, с каким-то непонятным именем, которое я никак не могу запомнить. Сегодня я проэкспериментировал на нём, и представь себе, дорогой Вилли, эксперимент блестяще удался. Для виду поколебавшись, он согласился доставить нас сегодня... Ну вот, Курт уже докладывает мне, что батальон готов выступать. Прощай, любимый брат, обнимаю тебя, как прежде, а письмо, видимо, придётся дописать в другой раз...»

Когда стемнело, батальон на лыжах, в полном вооружении, с пулемётами на саночках вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес. Впереди размашистым, охотничьим шагом скользил на своих самодельных широких лыжах Матвей Кузьмин. Тьма сгущалась. Сяло сухим, шелестящим снежком, и скоро мгла так уплотнилась, что лыжники стали видеть только спину впереди идущего. Старик вел немцев прямо по целине.

Всю ночь отряд шёл по сугробам, по нехоженому насту, тянулся по оврагам, по руслам замёрзших лесных ручьёв, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по компасу, много раз останавливал своего проводника и через переводчика спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути. Матвей неизменно отвечал:

— Шоссеек в лесу нету... Обожди, ваше благородие, к утру будем, — и напоминал о ружье.

Постепенно теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащились немецкие стрелки громадным, вековым лесом. В потёмках они натывались на деревья, цеплялись за кусты, наступали друг другу на лыжи, падали, поднимались, и им начинало казаться, что этот невидимый лес, тихо и грозно шумящий в ночном мраке, нарочно подбрасывает им под ноги эти сугробы, цепляется за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья.

Когда забрезжил жёлтый морозный рассвет, авангард отряда вышел наконец на опушку и остановился на поляне перед глубоким, поросшим кустарником оврагом.

— Ну, кажись, пришли, Матвей Кузьмин своё дело знает, — сказал старик.

Он снял с головы шапку и вытер ею вспотевшую лысину.

И пока измученные офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, дрожащих пальцах, пока ефрейторы гортанными криками выгоняли на поляну последних оставших стрелков в грязных, изорванных в дороге маскхалатах, Матвей Кузьмин, стоя на пригорке, улыбаясь, смотрел на розовое солнышко, поднимавшееся над заискрившимися

снежными полями. Утро было морозное, тихое. С сухим хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чиркали в кустах ольшаника солидные красногрудые снегири, деловито лущившие маленькие чёрные шишки. Где-то совсем рядом таякала собака.

— Матвей Кузьмин своё дело знает, — повторил старик, глухо, всей грудью вдыхая чистый и острый морозный воздух, вдыхая жадно, точно спеша насладиться им.

Торжествующая улыбка выскользнула из-под зарослей бороды, разбежалась лучиками морщин. И вдруг тишину распорол сухой треск пулемётных очередей. Взвизгнули пули, взбивая над слюдой наста острые фонтанчики снега. Эхо упругими раскатами пошло по лесу. С шелестом посыпался иней с потревоженных ветвей.

Пулемёты оказались совсем рядом, били почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чём дело, оседали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пулемёты строчили, строчили, порóли и порóли снежную равнину, с двух сторон сжимая колонну своим огнём. Опóмнившись, гитлеровцы бросились было в лес, но уже и там, за кустами, сердито рокотали автоматы...

Солдаты, бросив лыжи, с криками ужаса метались по поляне, увязая в сухом снегу. Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Опóмнившись, офицер бросился к старику.

Матвей Кузьмин стоял на холмике с обнажённой головой. Его было видно издали. Ветер трепал его бороду, развеивал седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза его, сужившиеся, помолодевшие, насмешливо сверкали из-под дремучих бровей. У офицера шевельнулись волосы. Мгновение он с каким-то мистическим ужасом смотрел на этого лесного человека, со спокойным торжеством стоявшего среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом нервным рывком он выхватил парабеллум и навёл его в лоб старику.

Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски и бесстрашно:

— Хотел купить старого Матвея?.. По себе о людях судишь, фашист!..



Старик вырвал из подкладки треуха сотенные бумажки и, бросив их в офицера, презрительно отвернулся от наведённого на него пистолёта. Он заметил, что пулемётчики боятся его зацепить и не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. Немцы тоже заметили это и старались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, были уже близко к спасительной опушке. Матвей Кузьмин взмахнул мохнатой шапкой и крикнул что было силы:

— Сынки! Не жалей Матвея, секи их хлеще, чтоб ни одна гадюка не уползла! Матвей...

Не договорив, он охнул и стал медленно оседать на землю, сражённый пулей фашистского офицера. Но и тому не удалось уйти. Не сделав и двух шагов, он упал, подрубленный пулемётной очередью. А в овраге уже возникло и, нарастая, катилось по полю «ура». Через отполированную ветрами кромку оврага перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, бежали они по поляне, преследуя оккупантов, посылая им вдогонку веера пуль, настигали, валили на снег, обезоруживали и бежали дальше, в покрытый снежной пеной лес, по следам, оставленным на насте. Вместе с автоматчиками бежал Вася Кузьмин, внучок старого охотника, которого тот послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злым лаем, катился, проваливаясь в глубоком снегу, лохматый Шарик. Вдруг он застыл, недоумённо подняв уши. И грохот боя, гулко раздававшийся в лесу, прорезал тоскливый протяжный вой.

Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, колхозник из сельхозартёла «Рассвет», что под Великими Луками, славящейся сейчас своими льнами.

Его похоронили на высоком берегу Ловати, похоронили, как офицера, с воинскими почестями, дав три залпа над свежей могилкой.

В тот же вечер начальник дивизионной разведки, разбирая документы убитых врагов, прочёл недописанное письмо фашистского офицера, которое так и не получил инженер Вильгельм Штайн из Саксонии.

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

По́лем вдоль бе́рега круто́го,
Ми́мо хат
В се́рой шинели рядово́го
Шёл солда́т.
Шёл солда́т, прегра́д не зная,
Шёл солда́т, друзе́й теряя,
Ча́сто, бывало,
Шёл без прива́ла,
Шёл впе́ред солда́т.

Шёл он но́чами грозовы́ми,
В дождь и в град.
Пе́сню с друзья́ми фро́нтовы́ми
Пел солда́т.
Пел солда́т, глота́я слёзы,
Пел про ру́сские берёзы,
Про ка́ри о́чи,
Про дом свой о́тчий
Пел в пу́ти солда́т.

Сло́вно приро́с к плечу́ солда́та
Автомáт —
Всю́ду враго́в свои́х закля́тых
Бил солда́т.
Бил солда́т их под Смоле́нском,

Бил солдát в посёлке ёнском,
Глаз не смыкáя,
Пуль не считáя,
Бил врагóв солдát.

Пóлем вдоль бёрега крутóго
Мíмо хат
В сéрой шинéли рядовóго
Шёл солдát.
Шёл солдát, слугá отчízны,
Шёл солдát во íмя жízни.
Зёмлю спасáя,
Смерть презира́я,
Шёл вперёд солдát...



ФЛАГ

Несколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирки с чёрным прямым крестом, врезаемым в пасмурное небо.

Безлюдным казался каменный берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так.

Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещере плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперёд и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблём, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобках, блестело тугое зелёное масло.

В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и всё его хозяйство. В тесной нише, отделённой от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и его комиссар. Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил ведомости.

Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой.

Прóстыни слепящего ора́нжевого огня вы́летели из ору́дий. Три залпа подря́д потрясли во́ду и ка́мень. Во́здух ту́го уда́рил в у́ши. С шу́мом чугу́нного ша́ра, пу́щенного по мра́мору, снаря́ды уходи́ли оди́н за други́м вдаль. А че́рез не́сколько мгнове́ний э́хо при-несло́ по воде́ весть о том, что они́ разорвали́сь.

Команди́р и комисса́р мо́лча смотре́ли друг на дру́га. Все́ было́ поня́тно без слов: о́стров со всех сторо́н обло́жен, коммуника́ции по́рваны. Бо́льше ме́сяца го́рсточка храбрецо́в защища́ет осажде́нный форт от беспере́ывных ата́к с мо́ря и с во́здуха; бо́мбы с я́ростным постоя́нством бьют в ска́лы, торпе́дные катера́ и десант-ные шлю́пки шныря́ют вокру́г; враг хо́чет взять о́стров шу́рмом; но гранитные ска́лы сто́ят непоколеби́мо; тогда́ враг отступа́ет далеко́ в мо́ре; собра́вшись с си́лами и перестро́ившись, он сно́ва броса́ется на шу́рм: он и́щет сла́бое ме́сто и не находит его́.

Но вре́мя шло.

Боеприпа́сов и продо́вольствия стано́вилось все́ ме́ньше. Погреба́ пустели. Часа́ми команди́р и комисса́р проси́живали над ве́домостями. Они́ комбиниро́вали, сокра́щали. Они́ пыта́лись оттяну́ть стра́шную мину́ту. Но развя́зка приближа́лась. И вот она́ насту-пи́ла.

— Ну? — сказа́л наконе́ц комисса́р.

— Вот тебе́ и ну, — сказа́л команди́р. — Все́.

— Тогда́ пиши́.

Команди́р, не торо́пясь, откры́л ва́хтенный журна́л, посмотре́л на часы́ и записа́л акку́ратным по́черком: «20 октября́. Сего́дня с утра́ вели́ огонь из всех ору́дий. В 17 часо́в 45 мину́т произвели́ последи́й залп. Снаря́дов бо́льше нет. Запа́с продо́вольствия — на одни́ су́тки».

Он закры́л журна́л — э́ту то́лстую бухгалте́рскую кни́гу, про-шнуро́ванную и скрепле́нную сургучной печа́тью, подержа́л его́ не́которое вре́мя на ладо́ни, как бы опреде́ляя его́ вес, и положи́л на по́лку.

— Такие́-то дела́, комисса́р, — сказа́л он без улы́бки.

В дверь посту́чали.

— Войди́те.

Дежурный в глянцеви́том плаще́, с кото́рого текла́ вода́, вошёл в ко́мнату. Он положи́л на стол небольшо́й алюми́ниевый цили́ндрик.

— В́ымпел?

— То́чно.

— Кем сбро́шен?

— Неме́цким истреби́телем.

Команди́р отвинти́л кры́шку, засу́нул в цили́ндр два па́льца и вы́тащил бума́гу, свёрнутую тру́бкой. Он прочита́л её и нахму́рился. На перга́ментном листке́ крупным, о́чень разбо́рчивым по́черком, синими ализари́новыми черни́лами бы́ло напи́сано сле́дующее:

«Господи́н командан́тий сове́цки форт и батарéи. Вы есть окру́жени́ зовсе́х старо́н. Вы не имéете бо́льше боевы́х припа́си и проду́кты. Во избега́ния напрáсни кровопроли́ти предлага́ю Вам капитули́рование. Усло́вия: весь гарнизо́н фо́рта зовме́стно командан́тий и команди́ры оставя́ют батарéи фо́рта по́лный сохрани́тость и поря́док и без ору́жия иду́т на пло́щадь во́зле кир́ха — там сдава́ться. Ровно́ 6.00 часо́в по среднеевропе́йски вре́мя на верши́на кир́хе до́лжен есть быть бе́ли флаг. За э́то я обеща́ю вам подарить́ жизнь. Проти́вни слúчай смерть. Здава́йтесь.

Команди́р неме́цки десан́т контр-адмира́л
фон Эверши́рп».

Команди́р протяну́л усло́вия капитуля́ции комисса́ру. Комисса́р прочёл и сказа́л дежу́рному:

— Хорошо́. Иди́те.

Дежу́рный вы́шел.

— Они́ хотя́т ви́деть флаг на кир́ке,— сказа́л команди́р задумчи́во.

— Да,— сказа́л комисса́р.

— Они́ его́ уви́дят,— сказа́л команди́р, надева́я шинéль.— Большо́й флаг на кир́ке. Как ты ду́маешь, комисса́р, они́ замéтят

его? Надо, чтоб они его непременно примéтили. Надо, чтоб он был как мóжно бóльше. Мы успеем?

— У нас есть время,— сказа́л комисса́р, отыскивая фура́жку.— Впередí ночь. Мы не опозда́ем. Мы успеем его сшить. Ребя́та поработа́ют. Он бу́дет грома́дный. За это я тебе руча́юсь.

Они́ обня́лись и поцелова́лись в губы, командíр и комисса́р. Они́ поцелова́лись крéпко, по-мужскí, чу́вствуя на губа́х вкус обвётренной, го́рькой ко́жи. Они́ поцелова́лись пёрвый раз в жíзни. Они́ торопи́лись. Они́ зна́ли, что времени для это́го бóльше никогда́ не бу́дет.

Комисса́р вошёл в ку́брик и припо́днял с ту́мбочки бюст Ле́нина. Он вы́тащил из-под него́ плюшевую мали́новую салфе́тку. За́тем он стал на табуре́т и снял со стéны кумачо́вую по́лосу с ло́зунгом.

Всю ночь гарнизóн фо́рта шил флаг, грома́дный флаг, кото́рый едва́ помеща́лся на полу́ ку́брика. Его́ шили больш́ими матро́скими игóлками и сурóвыми матро́скими нítками из куско́в са́мой разнообра́зной матэ́рии, из всего́, что нашло́сь подхо́дящего в матро́ских сундучка́х.

Незадо́лго до рассвёта флаг был гото́в.

Тогда́ моряки́ в послед́ний раз побри́лись, надели́ чíстые руба́хи и одíн за друго́м, с автомáтами на шее́ и карма́нами, наби́тыми патро́нами, ста́ли выходи́ть по тра́пу навёрх.

На рассвёте в каю́ту фон Эверша́рпа посту́чался ва́хтенный нача́льник. Фон Эверша́рп не спал. Он лежа́л, одéтый, на ко́йке. Он подошёл к туалéтному столу́, посмотре́л на себя́ в зёркало, вы́тер одеколо́ном мешки́ под глаза́ми. Лишь по́сле это́го он разреши́л ва́хтенному нача́льнику войти́. Ва́хтенный нача́льник был взволно́ван. Он с трудо́м сде́рживал дыха́ние, поднимáя для привётст-вия рúку.

— Флаг на кёрке? — отрывисто спроси́л фон Эверша́рп, игра́я витой́ слонóвой ко́сти рукоя́ткой кинжа́ла.

— Так то́чно. Они́ сда́ются.

— Хоро́шо,— сказа́л фон Эверша́рп.— Вы принесли́ мне пре-восхо́дную весть. Я вас не забúду. Отлíчно... Свистáть всех навёрх.

Через мину́ту он стоя́л, расста́вив но́ги, на боево́й рубке. То́лько что рассве́ло. Это был те́мный, ве́треный рассве́т по́здней о́сени. В бино́кль фон Эверша́рп уви́дел на горизонте ма́ленький гра́нитный о́стров. Он лежа́л среди се́рого, некра́сивого мо́ря. Углова́тые во́лны с ди́ким однообра́зием повто́ряли фо́рму прибре́жных скал. Мо́ре каза́лось вы́сеченным из гра́нита.

Над силуэ́том рыба́чьего посе́лка подыма́лся у́зкий треуго́льник кёрки с че́рным прямы́м кресто́м, вре́занным в па́смурное не́бо. Большо́й фла́г развева́лся на шпи́ле. В у́тренних су́мерках он был совсе́м те́мный, почти́ че́рный.

— Бедня́ги, — сказа́л фон Эверша́рп, — им, веро́ятно, пришло́сь отда́ть все свои́ просты́ни, что́бы шить тако́й большо́й бе́лый фла́г. Ниче́го не поде́лаешь, капитуля́ция име́ет свои́ неудобства́.

Он отдал при́каз.

Флоти́лия десан́тных шлю́пок и торпе́дных катеро́в напра́вилась к о́строву.

О́стров выраста́л, приближа́лся. Тепе́рь уже́ просты́м гла́зом мо́жно бы́ло рассмотре́ть ку́чку моряко́в, стоя́вших на пло́щади во́зле кёрки.

В э́тот ми́г показа́лось ма́линовое со́лнце. Оно́ повисло ме́жду не́бсн и водо́й, ве́рхним кра́ем уйдя́ в дли́нную ды́мчатую ту́чу, и ни́жним — касая́сь зубча́того мо́ря. Угру́мый свет оза́рил о́стров. Фла́г на кёрке стал кра́сным, как раскала́нное желе́зо.

— Че́рт возьми́, э́то кра́сиво, — сказа́л фон Эверша́рп. — Со́лнце вы́красило бе́лый фла́г в кра́сный цвет. Но сейча́с мы о́пять заста́вим его́ побледне́ть.

Ве́тер гнал кру́пную зы́бь. Во́лны би́ли в ска́лы. Отража́я уда́ры, ска́лы зве́нели, как бро́нза. То́нкий звон дрожа́л в во́здухе, насы́щенном водяно́й пы́лью. Вода́ бу́лькала, стекля́нно журча́ла, шипела́. И вдруг, со все́го ма́ху уда́рившись в незри́мую прегра́ду, с пу́шечным вы́стрелом вылета́ла о́брáтно, взрыва́ясь це́лым ге́йзером кипя́щей розо́вой пы́ли.

Десан́тные шлю́пки вы́бросились на бе́рег. По грудь в пе́нистой воде́, держа́ над голо́вой автомáты, пры́гая по валу́нам, скользя́, и па́дая и сно́ва подыма́ясь, бежа́ли не́мцы к фо́рту. Вот о́ни уже́



на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей.

Фон Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищён. Его лицо подёргивали судороги.

— Вперёд, мальчики, вперёд!

И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческие тела. Скалы наползали одна на другую, раскалывались. Их корёжило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудями обожжённого металла лежали механизмы взорванных орудий.

Морщина землетрясений прошла по острову.

— Они взрывают батареи! — крикнул фон Эвершарп. — Они нарушили условия капитуляции!

В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Всё вокруг стало монотонного гранитного цвета. Всё, кроме флага на кирке. Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума.

Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирке продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал ещё интенсивней. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп понял всё. Флаг никогда не был белым, он всегда был красным. Он не мог быть иным. Фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон Эвершарпа — он обманул сам себя.

Фон Эвершарп отдал новое приказание.

Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катера, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбацкого посёлка, как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья.

И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирки, тридцать советских моряков выставили свой автомат и пулемёты на все четыре стороны света — на юг, на восток, на север и на за-

пад. Никто из них в этот страшный, последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решён. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполнили её до конца.

Но силы были слишком неравны.

Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирпичи, с лицами, чёрными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вздоха.

Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек. Алый коленчатый переплёт первого тома «Истории гражданской войны» и два портрета — Ленина и Сталина, — вышитые гладью на вишнёвом атласе, подарок куйбышевских девушек, были вшиты в эту огненную мозаику.

На головокружительной высоте, среди движущихся туч, он развевался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сраженья, вперёд, к победе.

1942



А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...

(Отрывок из повести)

Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказанья. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Вольозера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

— Шестнадцать, товарищ старшина, — почти беззвучно повторила Гурвич.

— Вижу, — сказал он, не оборачиваясь. — Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты?.. Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, эту секунду, доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами

ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход: где-тобрякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нём, и хотя немцы были ещё далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемёт бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером! Даже бы и не «дегтярь», автоматов бы тройку да к ним мужиков посноровистей... Но не было у него ни пулемётов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался потом старшина Васков в то росистое майское утро...

— Товарищ старшина... Товарищ старшина...

Командант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие, растопыренные донельзя глаза, подмигнул:

— Веселый дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их. Поняла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, этого старшина объяснить не стал, но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась.

— Дорогу назад хорошо помнишь?

— Ага, товарищ старшина.

— Гляди: левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.

— Там, где вы хворост рубили?

— Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.

— Да знаю я, товарищ...

— Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело — болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо — трясина. Ориентир — берёза. От берёзы прямо на две сосны, что на острове.

— Ага.

— Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пенёк, с которого я в топь сигал. Точно на него цель, он хорошо виден.

— Ага.

— Долóжишь Кирыяновой обстановку. Мы тут фрицев покóрум малёнько, но долóго не продёржимся, самá понимаешь.

— Ага.

— Винтóвку, мешóк, скáтку — всё оста́вь. Налегке́ дуй.

— Значит, мне сейчас итти́?

— Слегóу пéред болóтом не позабóдь.

— Ага. Побежала́ я.

— Дуй, Лизавéта ба́тьковна.

Лíза молча покивала́, отодвинулась. Прислонила́ винтóвку к камню, ста́ла патронта́ш с ремня́ снимáть, всё время ожида́ючи поглядывая на старшину́. Но Васкóв смотре́л на нёмцев и так и не уви́дел её растревóженных глаз. Лíза осторóжно вздохну́ла, затыну́ла потóже ремень и, пригну́вшись, побежала́ к сосняку́, чуть привола́кивая но́ги, как э́то дéлают все жéнщины на свéте.

Диверсáнты б́ыли совсём уже́ б́лизко — мóжно разглядéть лица́, — а Федóт Евграфыч, распласта́вшись, всё ещё лежал на камнях. Кося́ глазом на нёмцев, он смотре́л на соснóвый лесóк, что начина́лся от гряды́ и тяну́лся к опу́шке. Два́жды там качну́лись верши́ны, но качну́лись легко́, слóвно пти́цей задéтые, и он подумал, что п́равильно сдéлал, посла́в и́менно Лíзу Бри́чкину.

Убедившись, что диверсáнты не замéтили связнóго, он поста́вил винтóвку на предохранителъ и спусти́лся за ка́мень. Здесь он подхватил оста́вленное Лíзой ору́жие и прямикóм побежал наза́д, шестым ч́увством уга́дывая, куда́ ста́вить но́гу, чтóбы нé было слы́шно тóпота.

— Товáрищ старшина́!..

Бросились, как воробьи́ на коноплю́. Дáже Четвертáк из-под шинéлей вынырнула. Непорядок, конéчно: слéдовало прикри́кнуть, скомáндовать, Ося́ниной указáть, что карау́ла не вы́ставила. Он уж и рот раскры́л, и брóви по-команди́рски надвину́л, а как в глаза́ их напряжённы́е загляну́л, так и сказа́л, слóвно в брига́дном ста́не:

— Плохо, девчата, дело.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Он рядом перед ним устроились, молча следили, как он цигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак:

— Ну, как ты?

— Ничего. — Улыбка у неё не получилась: губы не слушались. — Я спала хорошо.

— Стало быть, шестнадцать их. — Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощущивал. — Шестнадцать автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановит тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись. Гурвич юбку на колёнке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас всё замечал, всё видел и слышал, хоть и просто курил, цигарку свою разглядывая.

— Бричкину я в расположение послал, — сказал он погодя. — На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них — шестнадцать автоматов.

— Что же, смотреть, как они мимо пройдут? — тихо спросила Осянина.

— Нельзя их тут пропустить, через гряды, — сказал Федот Евграфыч. — Надо с пути сбить. Закружить надо, в обход, вокруг Легонтова озера направить. А как? Просто бьем — не удержимся. Вот и выкладываете соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют — и всё тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалянку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочал тяжёлыми мозгами, обсасывая все возможности.

Для начáла он бойцáм позáвтракать велёл. Онí возмутíлись бýло, но он одёрнул и сáло из мешкá вýтачил. Неизвёстно, что на них бóльше подействовало, сáло íли комáнда, а тóлько жевáть начали бóдро. А Федóт Евгрáфыч пожалёл, что сгорячá Лíзу Брíчкину натощáк в такúю даль отпрáвил.

Пóсле зáвтрака комендáнт старáтельно побрíлся холóдной водóй. Брíтва у него ещё отцóвская былá, самокáлочка — мечтá, а не брíтва, — но всё-таки в двух местáх порéзался. Залепíл порéзы газéтой, да Комелькóва из мешкá пузырёк с одеколóном достáла и самá ему эти порéзы прижглá.

Всё-то он дéлал спокойнó, неторопливо, но врéмя шло, и мýсли в его головé шарáхались, как малькí на мелковóдье. Никáк он собрáть их не мог и всё жалёл, что нельзя топóр взять да порубíть дровíшек: глядíшь, и улеглось бы тогда, ненúжное бы отсеялось, и нашёл бы он вýход из этогó положéния.

Конéчно, не для бóя нёмцы сюдá забралíсь — это он понимáл ясно. Шли глухомáнью, осторóжно, далекó разбросáв дозóры. Для чегó? А для тогó, чтóбы протíвник их обнарúжить не мог, чтóбы в перестрёлку не ввя́зываться, чтоб вот так же тíхо, незамéтно просáчиваться сквозь возможнóе заслóны к основнóй своéй цéли. Значит, нáдо, чтóбы онí его увíдели, а он их врóде не замéтил?.. Тогда бы, возможнóе дéло, отошли, в другóм мéсте попрóбовали бы пробрáться. А другóе мéсто — вокрúг Легóнтова óзера: сýтки ходьбí...

Однáко когó он им показáть мóжет? Четырех девчóнок да себя самолíчно?

Ну, задёржатся, ну, развёдку вýшлют, ну, поизучáют их, покá не поймúт, что в заслóне это́м рóвно пýтеро. А потóм!.. Потóм, товáрищ старшина Вáсков, никудá онí отходíть не стáнут. Окружáт и без вýстрела, в пять ноже́й снмнут весь твой отрýд. Не дуракí же онí, в сáмом-то дéле, чтоб от четырёх девчáт да старшинí с нагáном в лесá шарáхаться...

Все эти соображéния Федóт Евгрáфыч бойцáм вýложил — Осяниной, Комелькóвой и Гúрвич; Четвертáк, отоспáвшись, самá в караул в́звчалась. В́ложил без утáйки и добáвил:

— Ежели за час-полтора друго́го не придума́ем, бу́дет, как сказа́л. Гото́вьтесь.

«Гото́вьтесь»... А что гото́вьтесь-то? На тот свет ра́зве? Так для э́того вре́мени чем ме́ньше, тем лу́чше...

Ну, он, одна́ко, гото́вился. Взял из сидора гра́нату, нага́н вы́чистил, фи́нку на ка́мне нато́чил. Вот и вся подгото́вка: у девча́т и э́того за́нятия не́ было. Шушу́кались чего́-то, спо́рили в сторо́нке. Потом к нему́ подошли́.

— Товарищ старшина́, а е́сли бы о́ни лесору́бов встре́тили?

Не по́нял Васко́в: каки́х лесору́бов? Где?.. Война́ ведь, леса́ пусты́е сто́ят, са́ми ви́дели. О́ни объ́яснить взя́лись и — сообрази́л коменда́нт. Сообрази́л: часть — кака́я б ни была́ — гра́ницы распо́ложения имее́т. То́чные гра́ницы: и сосе́ди изве́стны, и посты́ на всех угла́х. А лесору́бы — в лесу́ о́ни. Побрига́дно разбрести́сь мо́гут: ищи́ их там, в глухоте́. Станут их не́мцы иска́ть? Ну, вряд ли: опа́сно э́то. Чуть где прогляди́шь — и всё: засеку́т, сообщат куда́ на́до. Потому́ никогда́ не изве́стно, ско́лько душ лес ва́лит, где о́ни, кака́я у них связь.

— Ну, девча́та, орлы́ вы у меня́!..

Позади́ запасно́й пози́ции речу́шка протека́ла, ме́лкая, но шумли́вая. За речу́шкой пра́мо от воды́ шёл лес — непрола́зная темь осинников, бурело́ма, ело́вых чащоб. В двух шага́х здесь челове́ческий глаз утыка́лся в живу́ю стéну подлэ́ска, и никакие́ це́йсовские бино́кли не мо́гли проби́ться сквозь не́е, уследи́ть за её изме́нчивостью, опреде́лить её глубину́. Вот э́то-то ме́сто и имёл в соображе́нии Федо́т Евгра́фыч, принимая́ к исполне́нию де́вичий план.

В са́мом це́нтре, чтоб не́мцы пра́мо в них упёрлись, он Четверта́к и Гу́рвич опреде́лил. Веле́л костры́ пали́ть подымне́е, крича́ть да а́укаться, чтоб лес звене́л. А из-за кустов́ не сли́шком всё же вы́совываться: ну, мелька́ть там, показыва́ться, но не о́чень. И сапоги́ веле́л снять. Сапоги́, пилотки, ремни́ — всё, что фо́рму опреде́ляет.

Су́дя по ме́стности, не́мцы мо́гли попра́бовать обойти́ э́ти кост-

ры только левее: справа каменные утёсы прямо в речку глядели, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костёр палить. А тот, левый фланг, на себя и Комелькову взял: другого прикрытия не было. Тем более, что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае если бы немцы всё ж таки надумали переправляться, он бы двух-трёх отсюда свалить успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул ещё на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!), топором дерева подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны.

— Идут, товарищ старшина!

— По местам,— сказал Федот Евграфыч.— По местам, девоньки, только очень вас прошу: поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите позвончее...

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак на том берегу копошились. Четвертак всё никак бинты развязать не могла, которыми чую её прикручивали. Старшина подошёл:

— Погоди, перенесу.

— Ну что вы, товарищ...

— Погоди, сказал. Вода — лёд, а у тебя хворь ещё держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк: пуда три, не более). Она рукой за шею обняла, вдруг покраснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи:

— Как с маленькой вы...

Хотел старшина пошутить с ней — ведь не чурбан нес всё-таки,— а сказал совсем другое:

— По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доставала — холодная, до рези. Вперед

Гурвич брелá, юбку подобрáв. Мелькáла худýми ногáми, для равновесíя размáхивая сапогáми. Оглянóулась:

— Ну и водичка — бр-рр!..

И юбку срáзу опустíла, подбóлом по водé волочá.

Комендáнт крйкнул сердíто:

— Подбóл подберй!

Остановíлась, улыбáясь:

— Не из устáва комáнда, Федóт Евгрáфыч...

Ничегó, ещё шóтит! Это Васкóву понрáвилось, и на свой фланг, где Комелькóва ужé костры поджигáла, он в хорóшем настроéнии прйбыл.

Заорáл что было сил:

— Давáй, дéвки, нажимáй веселéй!..

Издалекá Осянина отозвалáсь:

— Эгé-гей!.. Ивáн Ивáныч, гонй подвóду!..

Кричáли, валйли подрóбленные дерéвья, аýкались, жгли костры. Старшинá тóже иногдá покрйкивал, чтоб и мужскóй гóлос слышался, но чáще, затайвшись, сидёл в ивнякé, зóрко всмáтриваясь в кусты на той сторонé.

Дóлго ничегó там уловйть бýло невозмóжно. Ужé и бойцы егó кричáть устáли, ужé все дерéвья, что подрóблены бýли, Осянина с Комелькóвой свалйли, ужé и сóлнце над лéсом встáло и рéчку высветило, а кусты той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

— Мóжет, ушли?.. — шепнóла над úхом Комелькóва.

Лéший их вéдает, мóжет, и ушли. Васкóв не стереотрубá, мог и не замéтить, как к бéрегу онй подползáли. Онй ведь тóже птйцы стрéляные: в такóе дéло не пошлóт когó ни пóпадя...

Это он подóумал так. А сказáл кóротко:

— Годй.

И снóва в кусты ёти, до послéднего прýтика изóученные, глазáми впйлся. Так глядёл, что слезá прошйбла. Моргнóл, протёр ладóню и — вздрóгнул: почтй напрóтив, чéрез рéчку, ольшáник затрепетáл, раздáлся, и в прогáлине ясно обознáчилось зарóсшее ржáвой щетйной молодóе лицó.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колёно, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

— Вижу...

Ещё один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу, без ранцев, налегке. Выставив автоматы, общаривали глазами голосистый противоположный берег.

Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились всё-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щёлочку. К чёрту всё летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры и шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и... и поймут, что обнаружены.

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит, ещё в воде, на подходе. Конечно, шархнут по нему тогда, из всех оставшихся автоматов шархнут, но девчата, возможное дело, уйти успеют, зайтаются. Только бы Комелькову отослать...

Он оглянулся: стоя сзади него на коленях, Евгения зло рвала через голову гимнастёрку. Швырнула на землю, вскочила не таясь.

— Стой!.. — шепнул старшина.

— Рая, Вера, идите купаться!.. — звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил её гимнастёрку, зачем-то прижал к груди. А пышная Комелькова уже вышла на каменный, залитый солнцем плес.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зелёные фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая колёнками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками чёрные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая — в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню,



шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатывались по упругому, тёплому телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит — и переломится Женька, всплеснёт руками и...

Молчали кусты.

— Девчата, айдá купаться! — звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде. — Ивана зовите!.. Эй, Ванюша, где ты?..

Федот Евграфыч отбросил её гимнастёрку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну.

— Эге-гей, иду!.. — заорал он и снова ударил по стволу. — Идём сейчас, погодí!.. Ого-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не сваливал — и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтобы шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал, выглянул.

Женька уже на берегу стояла — боком к нему и немцам. Спокойно натягивала на себя лёгкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под косыми лучами бьющего из-за леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до чёрного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, ломает это буйно-молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставила солнцу до земли распущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли ещё немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастёрку, сунул в карман галифё наган и, громко ломая валёжник, пошёл на берег.

— Ты где тут?..

Хотёл вёсело крѣкнуть — не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место — сердце чуть рёбра не выламывало от страха. Подошёл к Комельковой:

— Из района звонили: сейчас машина придёт. Так что одевайся. Хватит загорать.

Проорал для той стороны, а что Комелькова ответила — не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что, казалось ему, шевельнись листок — и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось.

Женька потянула его за руку, он рядом сел и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжёлый, как ртуть.

— Уходи отсюда, Комелькова, — изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она что-то ещё говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего не мог слышать. Увести её, вывести за кусты надо было немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда её убьют. Но чтоб легко всё было, чтоб фрицы проклятые не допёрли, что игра всё это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.

— Доброем не хочешь — народу тебя покажу! — заорал вдруг старшина и сгрёб с камней её одежонку. — А ну, догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от неё уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился.

— Одевайся! И хватит с огнём играть! Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся — а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи её ходуноем ходили под узкими ленточками рубашки...

Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слёз, до изнеможения хо-

хотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что проведи немцев за нос, лихо проведи, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сutki топать.

— Ну, всё теперь! — говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельями. — Теперь всё, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

— Прибежит, — сипло сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у неё голос. — Она быстрая...

1969



Юлия Друнина

* * *

Качается рожь несжатая,
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы —
девчата,
Похожие на парней.

Нет, это горят не хаты —
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.

1942



СЕСТРА́

Друзья, вы говорили о героях,
Глядевших смерти и свинцу в глаза.
Я помню мост,

сраженье над рекою,

Бойцов, склонившихся над раненой сестрою.
Я вам хочу о ней сегодня рассказать.
Как описать её?

Обычная такая.

Запомнилась лишь глаз голубизна.
Весёлая, спокойная, простая.
Как ветер в жаркий день,

являлась к нам она.

Взглянули б на неё, сказали бы: девчонка!
Такой на фронт? Да что вы! Убежит.
И вот она в бою,

и мчатся пули звонко,

И от разрывов воздух дребезжит.
Усталая, в крови, в разорванной шинели,
Она ползёт сквозь бой,

сквозь чёрный вой свинца.

Огонь и смерть пронесётся над нею,
Страх за неё врывётся в сердца,
В сердца бойцов, привыкших храбро биться.
Она идёт сквозь смертную грозу,
И шепчет раненый:

— Сестра́ моя, сестрица,

Побереги себя. Я доползу,—

Но не бойтся девушка снарядов.

Уверенной и смелою рукой

Поддержит, вынесет бойца — и рада,

И отдохнёт чуть-чуть — и снова в бой.



БЕССМЕРТНАЯ ФАМИЛИЯ

Про́шлой о́сенью, ещё на Десне́, когда́ мы е́хали вдоль её ле́вого бе́рега, у на́шего «виллиса» спусти́л скат, и, пока́ шофёр нака́чивал его́, нам пришло́сь с полчасá, поджида́я, лежа́ть почти́ на са́мом берегу́. Как э́то обы́чно бывáет, колесо́ спусти́ло на са́мом неудáчном ме́сте — мы застрéли о́коло наводившегос́я че́рез реку́ вре́менного моста́.

За те полчасá, что мы там просиде́ли, немецкие самолёты два́жды появля́лись по три-четы́ре шту́ки и броса́ли ме́лкие бо́мбы во́круг перепра́вы. В пе́рвый раз бомбе́жка прошла́ зауря́дно, то есть как всегда́, и сапёры, рабо́тавшие на перепра́ве, прилегли́ кто где и пережда́ли бомбе́жку ле́жа. Но во второ́й раз, когда́ послéдний из немецких самолётов, оста́вшись о́дин, продолжа́л, назойливо жужжа́, беско́нечно крути́ться над реко́й, ма́ленький черня́вый майо́р-сапёр, кома́ндовавший постройко́й, вскочи́л и нача́л ожесточе́нно руга́ться.

— Так они́ и бу́дут крути́ться весь день,— крича́л он,— а вы так и бу́дете лежа́ть, а мост так и бу́дет сто́ять! По местáм!

Сапёры о́дин за друго́м подня́лись и, с огля́дкой на не́бо, продолжа́ли свою́ рабо́ту.

Немец ещё до́лго кружи́лся в во́здухе, пото́м, уви́дев, что о́дно его́ жужжа́ние перестáло де́йствовать, сброси́л две послéдние, оста́вшиеся у него́ ме́лкие бо́мбы и уше́л.

— Вот и уше́л,— грóмко ра́довался майо́р, приплясы́вая на краю́ моста́, так бли́зко от водо́й, что, каза́лось, он вот-вот упаде́т в неё.

Я, навѣрное, забыл бы навсегда об этом маленьком эпизоде, но некоторые обстоятельства впоследствии мне напомнили о нём. Поздней осенью я снова был на фронте, примерно на том же направлении, сначала на Днѣпрѣ, а потом за Днѣпром. Мне пришлось догонять далеко ушедшую вперёд армию. На дороге мне бросалась в глаза одна, постоянно, то здесь, то там, повторявшаяся фамилия, которая, казалось, была непременной спутницей дороги. То она была написана на куске фанеры, прибитом к телеграфному столбу, то на стене хаты, то мелом на бронѣ подбитого немецкого танка: «Мин нет. Артёмьев», или: «Дорога разведана. Артёмьев», или: «Объезжать влево. Артёмьев», или: «Мост наведён. Артёмьев», или, наконец, просто: «Артёмьев» и стрелка, указывающая вперёд.

Судя по содержанию надписей, нетрудно было догадаться, что это фамилия какого-то из сапёрных начальников, шедшего здесь вместе с передовыми частями и расчищавшего дорогу для армии. Но на этот раз надписи были особенно часты, подробны и, что главное, всегда соответствовали действительности.

Проѣхав добрых двести километров, сопровождаемый этими надписями, я на двадцатой или тридцатой из них вспомнил того чернявого «маленького майора», который командовал под бомбами постройкой моста на Деснѣ, — и мне вдруг показалось, что, может быть, как раз он и есть этот таинственный Артёмьев, в качестве сапёрного ангела-хранителя идущий вперёд войск.

Зимой на берегу Буга, в распутицу, мы заночевали в деревне, где разместился полевой госпиталь. Вечером, собравшись у огонька вместе с врачами, сидели и пили чай. Не помню уж почему, я заговорил об этих надписях.

— Да, да, — сказал начальник госпиталя. — Чуть ли не полтысячи километров идём по этим надписям. Знаменитая фамилия. Настолько знаменитая, что даже некоторых женщин с умом сводит. Ну, ну, не сердитесь, Вѣра Николаевна, я же шучу!

Начальник госпиталя повернулся к молодой женщине-врачу, сделавшей сердитый, протестующий жест.

— А тут не над чем шутить,— сказала она и обратилась ко мне: — Вы ведь дальше вперёд поедете?

— Да.

— Они вот смеются над моим, как они говорят, суеверным предчувствием, но я ведь тоже Артёмьева, и мне кажется, что эти надписи на дорогах оставляет мой брат.

— Брат?

— Да. Я потеряла его след с начала войны, мы с ним расстались ещё в Минске. Он до войны был инженером-дорожником, и вот мне всё почему-то кажется, что это как раз он. Больше того, я верю в это.

— Верит,— прервал её начальник госпиталя,— да ещё сердится, что тот, кто оставлял эти надписи, к своей фамилии не прибавил инициалов.

— Да,— просто согласилась Вера Николаевна,— очень обидно. Если бы ещё была надпись «А. Н. Артёмьев» — Александр Николаевич, я была бы совсем уверена.

— Даже знаете, что сделала? — снова перебил начальник госпиталя. — Она один раз к такой надписи приписала внизу: «Какой Артёмьев? Не Александр Николаевич? Его ищет его сестра Артёмьева, полевая почта ноль три девяносто «Б».

— Правда, так и написали? — спросил я.

— Так и написала. Только надо мной все смеялись и уверяли, что кто-кто, а сапёры редко идут назад по своим же собственным отметкам. Это правда, но я всё-таки написала... Вы, когда поедете вперёд,— продолжала она,— в дивизиях на всякий случай спросите, вдруг наткнётесь. А вот тут я вам напишу номер нашей полевой почты. Если узнаете, сделайте одолжение, напишите мне две строчки. Хорошо?

— Хорошо.

Она оторвала кусочек газеты и, написав на нём свой почтовый адрес, протянула мне. Пока я прятал в карман гимнастёрки этот клочок бумаги, она провожала его взглядом, как бы стараясь заглянуть в карман и проследить, чтобы этот адрес был там и не исчез.

Наступление продолжалось. За Днeпрóм и на Днeстрé я всё ещё встречáл фамилию «Артёмьев»: «Дорóга разведана. Артёмьев», «Переправа наведена. Артёмьев», «Мины обезврежены. Артёмьев». И снова просто «Артёмьев» и стрелка, указывающая вперёд.

В апреле, в Бессарабии, я попал в одну из наших стрелковых дивизий, где в ответ на вопрос о заинтересовавшей меня фамилии я вдруг услышал от генерала неожиданные слова:

— Ну, как же, это же мой командир сапёрного батальона — майор Артёмьев. Замечательный сапёр. А что вы спрашиваете? Наверное, фамилия часто попадалась?

— Да, очень часто.

— Ну ещё бы. Не только для дивизии, для корпуса — для армии дорогу разведывает. Весь путь вперёд идёт. По всей армии знаменитая фамилия, хотя и мало кто его в глаза видел, потому что идёт всегда вперёд. Знаменитая, можно сказать даже — бесмертная фамилия.

Я снова вспомнил о переправе через Десну, о маленьком чернявом майоре и сказал генералу, что хотел бы увидеть Артёмьева.

— А это уж подождите. Если какая-нибудь временная останóвка у нас будет — тогда. Сейчас вы его не увидите: где-то вперёд с разведывательными частями.

— Кстати, товарищ генерал, как его зовут? — спросил я.

— Зовут? Александр Николаевич зовут. А что?

Я рассказал генералу о встрече в госпитале.

— Да, да, — подтвердил он, — из запаса. Хотя сейчас такой вояка, будто сто лет в армии служит. Наверное, он самый.

Ночью, порывшись в кармане гимнастёрки, я нашёл обрывок газеты с почтовым адресом госпиталя и написал врачу Артёмьевой несколько слов о том, что предчувствие её подтверждается, скоро тысяча километров, как она идёт по следам своего брата.

Через неделю мне пришлось пожалеть об этом письме.

Это было на той стороне реки Прут. Мост ещё не был наведён, но два исправных парóма, работавшие как хороший часовый



механизм, монотонно и непрерывно двигались от одного берега к другому. Подъезжая к левому берегу Прута, я на щите разбитого немецкого самоходного орудия увидел знакомую надпись: «Переправа есть. Артёмьев».

Я пересёк Прут на медленном пароме и, выйдя на берег, огляделся, невольно ища глазами всё ту же знакомую надпись. В двадцати шагах, на самом обрыве, я увидел маленький свеженасыпанный холмик с заботливо сделанной деревянной пирамидкой, где наверху, под жестяной звездой, была прибита квадратная дощечка.

«Здесь похоронен,— было написано на ней,— павший славною смертью сапёра при переправе через реку Прут майор А. Н. Артёмьев». И внизу приписано крупными красными буквами: «Вперёд, на запад!»

На пирамидке под квадратным стеклом вставлена фотография. Снимок был старый, с обтрепанными краями, наверное долго лежавший в кармане гимнастёрки, но разобрать всё же было можно: это был тот самый маленький майор, которого я видел в прошлом году на переправе через Десну.

Я долго простоял у памятника. Разные чувства волновали меня. Мне было жаль сестру, потерявшую своего брата, не успев ещё, быть может, получить письма о том, что она нашла его. И потом ещё какое-то чувство одиночества охватывало меня. Казалось: что-то не так будет дальше на дорогах без этой привычной надписи «Артёмьев», что исчез мой неизвестный благородный спутник, охранявший меня всю дорогу. Но что делать. На войне волей-неволей приходится привыкать к смерти.

Мы подождали, пока с парома выгрузили наши машины, и поехали дальше. Через пятнадцать километров, там, где по обеим сторонам дороги спускались глубокие овраги, мы увидели на обочине целую груду наваленных друг на друга, похожих на огромные лепёшки, немецких противотанковых мин, а на одиноком телеграфном столбе фанерную дощечку с надписью: «Дорога разведана. Артёмьев».

В этом, конечно, не было чуда. Как и многие части, в которых

дóлго не меня́лся командíр, сапёрный батальо́н привы́к называ́ть себя́ батальо́ном Артёмьева, и его́ люди́ чтíли па́мять поги́бшего командíра, продолжа́я открыва́ть доро́гу а́рмии и надпи́сывать его́ фами́лию там, где они́ прошли́. И когда́ я, вслед за э́той на́дписью, ещё́ че́рез де́сять, ещё́ че́рез три́дцать, ещё́ че́рез се́мьдесят киломе́тров снова́ встреча́л всё ту же бессме́ртную фами́лию, мне каза́лось, что когда́-нибудь, в недале́ком бу́дущем, на перепра́вах че́рез Не́ман, че́рез Одер, че́рез Шпрее́ я снова́ встреча́ю фане́рную дощечку́ с на́дписью: «Доро́га разведана. Артёмьев».

1944



САПЕР

Всю ночь по ледяному насту,
по чёрным полыньям реки
шли за сапёром коренастым
обóзы,

тáнки

и полкí.

Их вёл на запад

по просéкам

простой, спокойный человек.

Прищурившись, смотрёл на снег

и мины находил под снегом.

Он шёл всю ночь.

Вставал из лóга

рассвет в пороховом дыму.

Настанет мир.

На всех дорогах

поставят памятник ему.

1942

ЗАВЕТНЫЙ КАМЕНЬ

Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Чёрное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря...
И грозный, солёный, бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал...
 В туманной дали
 Не видно земли,
 Ушли далеко корабли.
Друзья-моряки подобрали героя.
Кипела волна штормовая...
Он камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал, умирая:
«Когда покидал я родимый утёс,
С собою кусочек гранита унёс —
 Затём, чтоб вдали
 От крымской земли
 О ней мы забыть не могли.
Кто камень возьмёт, тот пускай поклянётся,
Что с честью нести его будет.
Он первым в любимую бухту вернётся
И клятвы своей не забудет.
Тот камень заветный и ночью и днём
Матросское сердце сжигает огнём...
 Пусть свято хранит
 Мой камень-гранит,—
 Он русскою кровью омыт».

Сквозь бури и штормы прошёл этот камень,
И стал он на место достойно...
Знакомая чайка взмахнула крыльями,
И сердце забилося спокойно.
Взошёл на утёс черноморский матрос —
Кто родине новую славу принёс.
 И в мирной дали
 Идут корабли
 Под солнцем родимой земли.

1943



ДЕРЖИСЬ, СТАРШИНА...

I

На этот раз командир лодки поймал себя на том, что смотрит на циферблат глубомёра и пытается догадаться, сколько же сейчас времени. Он перевёл глаза на часы, висевшие рядом, но всё-таки понять ничего не мог. Стрелки на них дрожали и расплывались, и было очень трудно заставить их показать время. Когда наконец это удалось, капитан-лейтенант понял, что до наступления темноты оставалось ещё больше трёх часов, и подумал, что этих трёх часов ему не выдержать.

Мутная, проклятая вялость вновь подгибала его колени. Он снова — в который раз! — терял сознание. В висках у него стучало, в глазах плыли и вертелись радужные круги, он чувствовал, что шатается и что пальцы его сжимают что-то холодное и твёрдое. Огромным усилием воли он заставил себя подумать, где он, за что ухватились его руки и что он, собственно, собирается делать. И тогда он вдруг понял, что стоит уже не у часов, а у клапанов продувания, схватившись за маховичок. Видимо, снова он потерял контроль над своими поступками и теперь, вопреки собственной воле, был уже готов продуть балласт и всплыть, чтобы впустить в лодку чистый воздух.

Воздух... Благословенный, свежий воздух без этого острого, душного, проклятого запаха, который дурманит голову, клонит ко сну, лишает воли... Воздуха, немного воздуха!..

Его очень много было там, над водой. Несправедливо много. Так много, что его хватало и на врагов. Они могли не только дышать им. Они могли даже сжигать его в цилиндрах моторов, и их

самолёты могли летать в нём над бухтой и Севастополем. И поэтому лодка должна была лежать на грунте, дожидаясь темноты, которая даёт ей возможность всплыть, вдохнуть в себя широкое открытыми люками чистый воздух и проветрить отсеки, насыщенные парами бензина.

Уже тринадцатый час люди в лодке дышали одуряющей смесью этих паров, углекислоты, выдыхаемой их лёгкими, и скудных порций кислорода, которым командир, расходуя аварийные баллоны, пытался убить бензиновый дурман. Кислород, дав временное облегчение людям, сгорал в их организме, а бензиновые пары всё продолжали невидимо насыщать лодку.

Они струились в отсеки из той балластной цистерны, в которой подводники, рискуя жизнью, привезли защитникам Севастополя драгоценное боевое горючее. Цистерна ночью была уже опорожнена, бензин увезли к танкам и самолётам. Оставалось только промыть её (чтобы при погружении водяной балласт не вытеснил из неё паров бензина внутрь лодки) и проветрить отсеки. Но сделать этого не удалось. С рассветом началась одна из тех яростных бомбёжек, длившихся целый день, которые испытывал Севастополь в последние дни своей героической обороны.

Лодка была вынуждена лечь в бухте на грунт до наступления темноты.

Первые часы всё шло хорошо. Но потом стальной корпус лодки стал подобен гигантской наркотической маске, надетой на головы нескольких десятков людей. Сытный, сладкий и острый запах бензина отравлял человеческий организм — люди в лодке поочередно стали погружаться в бесчувственное состояние. Оно напоминало тот неестественный мёртвый сон, в котором лежат на операционном столе под парами эфира или хлороформа.

И так же, как под наркозом каждый человек засыпает по-своему: один — легко и покорно, другой — мучительно борясь против насильно навязываемого ему сна, так и люди в лодке, перед тем как окончательно потерять сознание, вели себя по-разному.

Одни медленно бродили по отсекам, натываясь на приборы и

на товарищей, и бормотали оборванные, непонятные фразы. Другие, лежавшие терпеливо и спокойно в ожидании всплытия, вдруг принимались плакать пьяным истощенным плачем, ругаясь и бредя, пока отравленный воздух не гасил в них остатков сознания и не погружал в молчание. Кто-то внезапно поднялся и начал плясать. Может быть, в затуманенном его мозгу мелькнула догадка, что этим он подымет дух у остальных, — и он плясал, подпевая и ухарски вскрикивая, пока не упал без сил рядом с бесчувственными телами, для которых плясал.

Большинство краснофлотцев, стараясь сберечь силы до того времени, когда можно будет всплывать, лежали так, как приказал командир, — молча и недвижно. Но и они в конце концов были побеждены бесчувствием, неодолимо наплывающим на мозг. И только глаза их — неподвижные, не выражающие уже мысли глаз — были упрямо открыты, словно краснофлотцы хотели этим показать своему командиру, что до последнего проблеска сознания они пытались держаться и что они ждут только глотка свежего воздуха, чтобы встать по своим боевым местам.

Но дать им этот глоток командир не мог.

Всплывать, когда над бухтой был день, означало подставить лодку под снаряды тяжелых батарей, под бомбы самолетов, непрерывно сменяющих друг друга в воздухе. Нужно было лежать на грунте и ждать темноты. Нужно было бороться с этим одуряющим запахом, погружившим в бесчувствие всех людей в лодке. Он должен был держаться и сохранять сознание, чтобы иметь возможность всплыть и спасти лодку и людей.

Но держаться было трудно. Всё чаще и чаще он переходил в бредовое состояние и уже несколько раз ясно видел на часах двадцать один час — время, когда можно будет всплывать. Глоток свежего воздуха, только один глоток — и он продержался бы и эти три часа. Он завидовал тем, кому привёз бензин, мины и патроны: они дрались и умирали на воздухе. Даже падая с пульей в груди, они успевали вдохнуть в себя свежий, чистый воздух, и, вероятно, это было блаженством... Стоило только повернуть маховичок продувания балласта, отдрать люк, вздохнуть один раз — один толь-

ко раз! — и потом снова лечь на грунт хоть на сѹтки... Пальцы его уже сжимали маховичок, но он нашёл в себе силы снять с него руки и отойти от трюмного поста.

Он сделал два шага и упал, всей силой воли сопротивляясь надвигающейся зловещей пустоте. Он не имел права терять сознание. Тогда лодка и все люди в ней погибнут.

Он лежал в центральном посту у клапанов продувания, скрипя зубами, глухо рыча и мотая головой, словно этим можно было выветрить из неё проклятый вялый дурман. Он кусал пальцы, чтобы боль привела его в чувство. Он бился, как тонущий человек, но сонная пустота затягивала в себя, как медленный сильный омут.

Потом он почувствовал, что его приподымают, и сквозь дымные и радужные облака увидел лицо второго во всей лодке человека, кто, кроме него, мог ещё думать и действовать. Это был старшина группы трюмных.

— Товарищ капитан-лейтенант, попейте-ка, — сказал тот, прикладывая к его губам кружку.

Он глотнул. Вода была тёплая, и его замутило.

— Пейте, пейте, товарищ командир, — настойчиво повторил старшина. — Может, сорвёт. Тогда полегчает, вот увидите...

Капитан-лейтенант залпом выпил кружку, другую. Тотчас его замутило больше, и яростный припадок рвоты потряс всё тело. Он отлежался. Голове действительно стало легче.

— Крепкий ты, старшина, — сказал он, найдя в себе силы улыбнуться.

— Держусь пока, — сказал тот, но капитан-лейтенант увидел, что лицо его было совершенно зелёным и что глаза блестят неестественным блеском. Командир попытался встать, но во всём теле была страшная слабость, и старшина помог ему сесть.

— А я думал, вам полегчает, — сказал он сожалеюще. — Конечно, кому как. Мне вот помогает, потравлю — и легче...

Командир с трудом раскрыл глаза.

— Не выдержать мне, старшина. Свалюсь, — сказал он, чувствуя, что сказать это трудно и стыдно, но сказать надо, чтобы тот,

кто остане́тся на нога́х оди́н, знал, что команді́ра в ло́дке бо́льше нет.

И старшина́ как бу́дто угада́л его́ чу́ство.

— Что ж мудрёного, вы же в походе́ две но́чи не спа́ли,— сказа́л он уважи́тельно.— Я и то на вас уди́вляю́сь.

Он помолча́л и доба́вил:

— Вам бы, това́риц команді́р, поспа́ть сейча́с. Ча́са три отдохнёте, а к темноте́ я вас разбу́жущу... А то вам и ло́дки пото́м не подня́ть бу́дет...

Команді́р и так уже́ почти́ спал, си́дя на разбо́жке. Боря́сь со сном, он ду́мал и взвешивал. Он отли́чно понима́л, что, е́сли он неме́дленно же не отдохнё́т, он погу́бит и ло́дку и люде́й. Он с уси́лием по́днял го́лову.

— Това́риц старшина́ пе́рвой ста́тьи,— сказа́л он таки́м то́ном, что старшина́ нево́льно выпря́мился и стал «сми́рно»,— вступа́йте во вре́менное кома́ндование ло́дкой. Я, и то́чно, не в себе́. Ля́гу. Следи́те за людьми́, мо́жет, кто очнё́тся, полёзет в люк отдра́ивать... и́ли продува́ть при́мется... Не допуска́ть.

Он помолча́л и доба́вил:

— И меня́ не допуска́йте к кла́панам до двадца́ти одно́го ча́са. Мо́жет, и меня́ к ним то́же потя́нет, поня́тно?

— Поня́тно, това́риц капита́н-лейтена́нт,— сказа́л старшина́.

Команді́р снял с руки́ часы́.

— Возьми́те. Что́бы всё вре́мя при вас бы́ли, ма́ло ли что... Меня́ разбу́дить в двадца́ть оди́н час, поня́тно?

— Поня́тно,— повто́рил старшина́, надева́я на́ руку часы́.

Он помо́г команді́ру вста́ть на́ ноги и дойти́ до каю́ты. Очеви́дно, тот уже́ теря́л созна́ние, потому́ что повис на его́ руке́ и говори́л, как в бреду́:

— Держи́сь, старшина́... Вы́держи... Ло́дку тебе́ отдаю́... люде́й отдаю́... На часы́ смотре́й, вы́держи, старшина́...

Старшина́ уложи́л его́ в ко́йку и поше́л по отсе́кам.

II

Он шёл медленно и осторожно, стараясь не делать лишних движений, потому что и у него от них кружилась голова. Он шёл между бесчувственных тел, поправляя руки и ноги, свесившиеся с кобек, с торпедных аппаратов, с дизелей. Порой он останавливался возле спящего или потерявшего сознание краснофлотца, оценивая его: может, если его привести в чувство, пригодится командиру при всплытии? Он попробовал расшевелить тех, кто казался ему крепче и выносливее других. Из этого ничего не получилось. Только трое на минуту пришли в себя, но снова впали в бесчувственность. Однако он их заметил: это были нужные при всплытии люди: электрик, моторист и ещё один — трюмный.

Трижды за первые два часа ему пришлось прибегать к своему способу облегчения. Но в желудке ничего не осталось, и рвота стала мучительной. По третьему разу он почувствовал, что его валит непобедимое стремление заснуть. Чтобы отвлечься, он опять пошёл по отсекам, пошатываясь. Когда он проходил мимо командира, он подумал, не разбудить ли его, потому что сам он мог неожиданно для себя заснуть. Он остановился перед командиром. Тот по-прежнему продолжал бредить:

— Двадцать один час... Боевая задача... Держись, старшина...

— Спи́те, товарищ командир, всё нормально идёт,— ответил он, но, видимо, командир его не слышал, потому что повторял одното́нно и негромко:

— Держись, старшина... Держись, старшина...

Старшина смотрел на него, взволнованный этим бредом, в котором командир и без сознания продолжал верить тому, кому он поручил свой отдых, нужный для спасения лодки. Ему стало стыдно за свою слабость. Он пересилил себя и пошёл в центральный пост.

Но там, оставшись опять один, он снова почувствовал, что должен забыться хоть на минутку. Голова сама падала на грудь, и он боялся, что заснёт незаметно для самого себя. Тогда он пошёл на хитрость: прислонился к двери, взялся левой рукой за верхнюю

задрáйку и привалился головой к запястью с тем расчётом, что если случайно он заснёт, то пальцы разожмётся и голова неминуемо стукнется о задрáйку, что, несомненно, заставит его опомниться.

Какое-то время он сидел в забытьи, слушая громкий стук в висках. Потом этот стук перешёл в ровное, убаюкивающее постукивание, равномерное и не очень торопливое. Это тикали у самого уха командирские часы на руке. Они тикали и как будто повторяли два слова: «Держись, старшина, держись, старшина...» Он понял, что засыпает, и тут же хитро подумал, что пальцы обязательно разожмётся, как только он уснёт, и что пока можно сидеть спокойно, отдаваясь этому блаженному забытью. Но часы тикали надоёдливо, и надоёдливо звучали слова: «Держись, старшина», — и вдруг он вспомнил, что они значат...

Он резко поднял голову и хотел снять руку с задрáйки. Но пальцы так цепнулись в задрáйку произвольной цепкой судорогой, что он испугался. Их пришлось разжать другой рукой.

Ему стало ясно, что нельзя идти ни на какие сделки с самим собой: несмотря на свой хитрый план, он мог сейчас заснуть, как и все другие, и погубить лодку. Чтобы встряхнуться, он запел громко и нескладно. Он никогда не пел раньше, стесняясь своего голоса, но сейчас его никто не слышал. Он пел дико и фальшиво, переирая слова, но песня эта его несколько рассеяла. Вдруг он замолчал: он подумал, что наверно, может быть, подслушивают вражеские гидрофоны. Потом с трудом вспомнил, что никаких гидрофонов нет — лодка лежит в своей бухте.

Время от времени в лодку доносились глухие взрывы. Наверное, фашисты бомбили наши корабли. Он вспомнил, как перед погружением, когда, сдав груз и бензин, лодка отходила от пристани, в небе загудело неисчислимое количество самолётов, и светлые столбы воды встали на нежном небе рассвета, и один из них, опав, обнаружил за собой миноносец. И снова с потрясающей ясностью он увидел, как корма миноносца поднялась над водой и как одно орудие на ней продолжало бить по самолётам, пока вода не заплеснула в его раскалённый ствол.

— Держись, старшина,— сказа́л он себе вслух,— держись, старшина... Лю́ди же держались...

Его́ охвати́ла жа́лость к э́тим моря́кам, поги́бшим на его́ глазах, и внеза́пная я́рость ожгла́ се́рдце. Он по́днял к по́дволоку кула́к и погрози́л.

— Ещѐ и ло́дки ждёте, че́ртовы де́ти?.. Прождѐтесь...— сказа́л он тѝхо и отче́тливо.

Ярость э́та как бу́дто освежи́ла его́ и прида́ла ему́ сил. Он прошѐл по отсе́кам, что́бы найти́ тех, ко́го он намети́л, и перетащи́ть их в центра́льный пост, что́бы при всплы́тии приве́сти их в чу́вство. Он наклони́лся над э́лектриком, ко́гда услы́шал в конце́ отсе́ка шагѝ. Перегну́вшись и посмотре́в вдоль ло́дки сквозь пу́таную сеть труб, што́ков и прибо́ров, он уви́дел, что кто́-то, шата́ясь, подошёл к лю́ку и взя́лся за задра́йку. Старшина́ бы́стро прошѐл к нему́.

— С ума́ соше́л? Кто приказа́л?

Но тот, очеви́дно, его́ не понима́л. Старшина́ попра́бовал его́ оттащи́ть, но тот вцепи́лся в задра́йку с неожѝданной си́лой, пока́чивая опу́щенной голово́й, и бормота́л:

— Обожди́... на мину́тку то́лько... обожди́...

Он боро́лся со старшино́й отча́янно и упо́рно, пото́м вдруг весь осла́б и упáл во́зле лю́ка.

Борьба́ э́та утоми́ла старшину́, и он вы́нужден был отсидѐться. Едва́ он отдохну́л, как упáвший сно́ва встал и потяну́лся к задра́йкам. На э́тот раз схва́тка была́ яростней, и, мо́жет быть, тот одоле́л бы старшину́ и впусти́л бы в ло́дку во́ду, е́сли б не пустя́к: старшина́ почувствова́л, что рука́ с командѝрскими часа́ми прижа́та к перебо́рке, и ему́ почему́-то померѝцилось, что е́сли часы́ бу́дут разда́влены в э́той сва́лке, то он не смо́жет разбудѝть командѝра во́время. Он рывко́м дѝрнулся из зажа́вших его́ це́пких объ́ятий, и бре́дивший сно́ва потеря́л си́лы. Для ве́рности старшина́ связа́л ему́ ру́ки чѝм-то полотѝнцем и до́лго сидѐл во́зле, зады́хаясь и выти́рая пот. Ко́гда он смог поднѝтаться на́ ноги, бы́ло уже́ де́сять мину́т де́сятого. Он прошѐл к командѝру и трону́л его́ за плечо́:

— Товарищ капитан-лейтенант, время вышло, вставайте!

— Старшина? — тотчас же ответил тот, не открывая глаз.— Хорошо, старшина... Держись... Не забудь разбудить...

— Пора всплывать, товарищ командир, двадцать один час,— повторил старшина и поднял голову к подволоку, где за толстым слоем воды была спасительная тьма и воздух, чистый воздух, который сейчас хлынет в лодку.

Нетерпение охватило его.

— Вставайте, товарищ командир, можно всплывать,— повторил он, но командир очнуться не мог. Он подымал голову, ронял её обратно на койку и повторял:

— Держись, старшина... боевой приказ... двадцать один час...

Разбудить его было невозможно.

Когда старшина это понял, он просидел минут пять, соображая. Потом прошёл к инженеру и попытался поднять его. Но тот был совершенно без сознания.

В отчаянии старшина попробовал заставить очнуться кого-либо из тех, кого он наметил ранее. Но и они подымали голову, как пьяные, отвечали вздор, и толку от них не было.

Тогда он решился.

Он перенёс командира в центральный пост и пристроил его под самым люком, чтобы воздух сразу хлынул на него. Потом подошёл к клапанам и открыл продувание средней.

Всё было в порядке. Знакомый удар сжатого воздуха хлопнул в трубах, вода в цистерне зажурчала, и глубомёр поплыл вверх. Лодка всплыла на ровном киле, и глубомёр показал, что рубка уже вышла из воды. Теперь оставалось лишь отдрать верхний люк и впустить в лодку воздух. Тогда под свежей его струей командир очнётся, и всё пойдёт нормально.

Во всей этой возне старшина очень устал. И как бывает всегда в последних секундах ожидания, ему показалось, что больше он выдержать не сможет. Свежий воздух стал нужен ему безотлагательно, сейчас же, иначе он мог упасть рядом с командиром, и тогда всё кончится и для лодки и для людей. Сердце его билось бешеным стуком, голова кружилась. Он полз по скоб-трапу вверх

к люку медленно, как во сне, когда руки и ноги вьязнут и когда никак нельзя дотянуться до того, что тебя спасёт. Руки его и в самом деле ослабли, и, взявшись за штурвал люка, он едва смог его повернуть. Ещё одно огромное усилие понадобилось, чтобы заставить крышку люка отделиться от прилипшей резиновой прослойки.

Свежий, прохладный воздух ударил ему в лицо. Он пил его всей грудью, вытянув шею, смеясь и почти плача, но вдруг с ужасом почувствовал, что голова кружится всё сильней. Он сумел ещё понять, что люк надо успеть задрать, иначе лодку начнёт заливать, если разведёт волну, и не будет уже ни одного человека, кто это сможет заметить. Теряя сознание, он повис всем телом на штурвале люка, крышка захлопнулась под тяжестью его тела, руки разжались, и он рухнул вниз.

III

Очнулся он оттого, что захлебнулся. Рывком поднял голову, пытаясь понять, где он и что случилось.

В лодке по-прежнему было светло и тихо. Он лежал рядом с командиром, лицом вниз, в небольшой луже, заливавшей палубу центрального поста. Командирские часы на руке показывали 21 час 50 минут. Значит, он только что упал, и откуда появилась вода — было непонятно.

Он встал и с удивлением почувствовал, что силы его прибавились, — видимо, так помог воздух, которым ему только что удалось подышать. Но открывать вновь люк было опасно: раз в лодке была вода, значит рубка не вышла целиком над поверхностью бухты. Он в раздумье обвёл глазами центральный пост, соображая, что же могло произойти. Тут на глаза ему попались часы на переборке у глубомёра. Они показывали 0 часов 8 минут.

Это значило, что командирские часы разбились и что он пролежал без сознания больше двух часов. Всё это время лодка дрейфовала в бухте, и с ней могло произойти что угодно, раз вода выступила из трюма на настил палубы.

Он пошёл осматривать отсеки и понял, откуда появилась вода.

Тот, кого он связал полотёнцем, сумел освободиться от него и всё-таки отдрать носовой люк. Но, по счастью, он только ослабил задрайки: у него или не хватило сил открыть люк, или вода, полившаяся в щель, привела его на момент в чувство, и он понял, что делает что-то не то. Однако и этой щели оказалось достаточно, чтобы вода, покрывавшая над люком верхнюю палубу лодки, всплывшей только рубкой, уже залила трюмы.

Поняв, что очнулся как раз вовремя, старшина тотчас довернул задрайки носового люка, вернулся в центральный пост, пустил водоотливные помпы и только после этого решился открыть рубочный люк. Воздух снова ударил его по голове, как молотом, но на этот раз он сразу же перевесился через комингс люка и удержался на трапе. Скоро он пришёл в себя и поднялся на мостик.

Торжественно и величаво стояло над бухтой звёздное, чистое небо. Вспыхивающее на горизонте кольцо орудийных залпов осеняло мужественный, израненный город огненным венцом славы. Шумели волны, разбиваясь о близкий берег. Свежий морской ветер бил в лицо, выдувая из лёгких ядовитые пары бензина.

Старшина стоял, наслаждаясь ветром, воздухом и возвращённой жизнью. Он стоял, он смотрел в звёздное небо и слушал глухой рокот волн и залпов.

Но лодка снова напомнила ему о том, что по-прежнему он остаётся единственным человеком, от которого зависит её судьба и судьба заключённых в ней беспомощных, одурманенных людей: она приподнялась на волне и ударила носом о грунт. Тогда он перегнулся через обвес рубки, взгляделся во тьму и понял, что за эти два часа лодку поднесло к берегу и, очевидно, посадило носом на камни.

Опять следовало действовать, и действовать немедленно. Нужно было сняться с камней и уйти в море, пока ещё темно и пока не появились над бухтой фашистские самолёты.

Он быстро спустился вниз, включил вентиляцию и с трудом вытаскил командира на мостик. На воздухе тот очнулся. Но так же, как недавно старшина, он сидел на мостике, вдыхая свежий



воздух и ещё не понимая, где он и что надо делать. Старшина оставил его приходиться в себя и вынес наверх ещё одного человека, без которого лодка не могла дать ход,— электрика, одного из троих, намеченных им для всплытия.

Наконец они смогли действовать. Командир приказал продуть главный балласт, чтобы лодка, окончательно всплыв, снялась с камней. Электрик, ещё пошатываясь, прошёл в корму, к своей станции, старшина — к своему трюмному посту. Он открыл клапаны, и глубомёр пошёл вверх. Когда он показал ноль, старшина доложил наверх, что балласт продут, и командир дал телеграфом «полный назад», чтобы отвести лодку от камней. Моторы зажужжали, но лодка почему-то пошла вперёд и вновь села на камни. Командир дал «стоп» и крикнул вниз старшине, чтобы тот узнал, почему неверно дан ход.

Электрик стоял у рубильников с напряжённым и сосредоточенным вниманием и смотрел на телеграф, ожидая приказаний.

— Тебе какой ход был приказан? — спросил его старшина.

— Передний, — ответил он. — Полной мощностью оба вала.

— Ты что, не очнулся? Задний был дан, — сердито сказал старшина.

— Да я видел, что телеграф врёт, — сказал электрик спокойно. — Как же командир мог задний давать? Сзади же у нас фашисты. Мы только вперёд можем идти. В море.

Он сказал это с полным убеждением, и старшина понял, что тот всё ещё во власти бензинового бреда. Заменить электрика у станции было нечем, а ждать, когда к нему вернется сознание полностью, было нельзя. Тогда старшина прошёл на мостик и сказал капитан-лейтенанту, что у электрика в голове шарик вращается ещё не в ту сторону, но что хода давать можно: он сам будет стоять рядом с электриком и наблюдать, чтобы тот больше не чудил.

Лодка вновь попыталась сняться. Ошибка электрика поставила её в худшее положение: главный балласт был продут полностью, и уменьшить её осадку было теперь уже нечем, а от рывка вперёд

она плóтно засéла в камнѣх. Врѣмя не терпéло, рассвёт приближался. Лóдка рвалáсь назáд, пока не разрядíлись аккумуляторы.

Но за это время воздух, гулявший внутри лóдки, и вентиляция сдéлали своё дéло. Краснофлóтцы приходíли в себя. Пёрвыми очнóлись те упóрные подводники, котóрые потеряли сознáние послéдними. За ними, одíн за другóм, вставáли остальнóе, и скóро во всех отсеках началóсь движéние и забила жизнь. Моторíсты стáли к дízелям, элэктрики спустились в трюм к аккумуляторам, готóвя их к зарядке. Держáсь за гóлову и шатáясь, прошёл в центрáльный пост бóцман. У колóнки вертикального руля встал рулево́й. Чтó-то зашипéло на кáмбузе, и впервые за дóлгие часы подводники вспомнили, что, крóме необходимости дышáть, человеку нóжно ещё и есть.

Среди этого мнóжества людéй, вернувших себе способнóсть чувствовать, дóумать и дéйствовать, совершенно затерялся тот, кто верну́л им эту способнóсть.

Спервá он чтó-то дéлал, помогáл другóм, но постепеннó всё бóльше и бóльше людéй появлялось у механизмов, и он чувствовал, бóдто с него свáливается однá забóта за другóй. И когда наконéц дáже у трюмного поста появилсá краснофлóтец (тот, когó он когда-то — казалóсь, так давнó! — пытался разбудíть) и официáльно, по устáву, попросíл разрешéния стать на вáхту, старшина пóнял, что теперь мóжно поспáть.

И он засну́л у сáмых дízелей так крéпко, что дáже не слышал, как онí загрохотáли частыми взрýвами. Лóдка снóва далá ход, на этот раз дízелями, и винты пóльными оборóтами стащíли её с камнéй. Она разверну́лась и пошла к вы́ходу из бóхты. Дízели стучáли и гремéли, но это не могло́ разбудíть старшину́. Когда же лóдка поверну́ла и вéтер стал забивáть чéрез люк отработанные гáзы дízелей, старшина́ просну́лся. Он потянóл нóсом, вóругался и, не в сíлах слышать зáпах, хоть в какóй-нибудь мéре напомиnáющий тот, котóрый дóлгие шестнáдцать часóв вали́л его́ с ног, решíтельно вы́шел на мóстик и попросíл разрешéния у командíра остáться.

Тот узна́л в темнотé его́ гóлос и молча нашёл его́ рóку. Дóлго,

без слов, командир жал её крепким пожатием, потом вдруг при-
тянул старшину к себе и обнял. Они поцеловались мужским, строгим,
клятвенным поцелуем, связывающим военных людей до
смерти или победы.

И долго ещё они стояли молча, слушая, как гудит и рокочет
ожившая лодка, и подставляли лицо свежему, вольному ветру.
Чёрное море окружало лодку тьмой и вздыхающими волнами,
оберегая её от врагов.

Потом старшина смущённо сказал:

— Конечно, всё хорошо получилось, товарищ капитан-лейте-
нант, только неприятность одна всё же есть...

— Кончились неприятности, старшина,— сказал командир
весело.— Кончились!

— Да уж не знаю,— ответил старшина и неловко протянул
ему часы.— Часыки ваши... Надо думать, не починить... Стоят...

1942





Алекса́ндр Твардо́вский

* * *

Когда́ пройдёшь путём коло́нн
В жару́, и в дождь, и в снег,
Тогда́ поймёшь,
Как сла́док сон,
Как ра́достен ночлёг.

Когда́ путём войны́ пройдёшь,
Ещё́ поймёшь поро́й,
Как хлеб хоро́ш
И как хоро́ш
Глоток воды́ сыро́й.

Когда́ пройдёшь таким́ путём
Не день, не два, солда́т,
Ещё́ поймёшь,
Как до́рог дом,
Как о́тчий уго́л свят.

Когда́ — нау́ку всех нау́к —
В бою́ пости́гнешь бой,
Ещё́ поймёшь,
Как до́рог друг,
Как до́рог ка́ждый свой.

И про отва́гу, долг и честь
Не бу́дешь зря́ тверди́ть.
Они́ в тебе́,
Како́й ты есть,
Каки́м лишь мо́жешь быть.

Таки́м, с кото́рым коль дружи́ть
И дру́жбы не теря́ть,
Как говори́тся —
Мо́жно жить
И мо́жно умира́ть.

1943

РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

... Да разве об этом расскажешь —
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.

Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все — без конца и без счёта —
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.

Одной тебе — волей-неволей, —
А надо повсюду поспеть;
Одна ты и дома и в поле,
Одной тебе плакать и петь.

А тучи свисают всё ниже,
А громы грохочут всё ближе,
Всё чаще недобрая весть.
И ты перед всёю странюю,
И ты перед всёю войною
Сказалась — какая ты есть.

Ты шла, затаив своё горе,
Суровым путём трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

В холодные зимы, в метели,
У той у далёкой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.

Бросались в грехоте, в дыме
Советские воины в бой,
И рúшились вражьи твердыни
От бомб, начинённых тобой.

За всё ты бралась без страха,
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела — иглой и пилёй.

Рубила, возила, копала, —
Да разве же всё перечтёшь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живёшь.

Бойцы твой письма читали,
И там, на переднем краю,
Онi хорошо понимали
Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву
И встретить готовый её,
Как клятву шептал, как молитву,
Далёкое имя твоё...

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Он стоял перед капитаном — курносый, скуластый, в кучем пальтишке с рыжим воротником из шерстяного бобрка. Его круглый носик побагровел от студеного степного суховея. Обшелушенные, посинелые губы дрожали, но темные глаза пристально и почти строго были устремлены в глаза капитана.

Он не обращал внимания на краснофлотцев, которые, любопытствуя, обступили его, необычного тринадцатилетнего посетителя батареи, — этого сурового мира взрослых, опаленных пороком людей. Обут он был не по погоде: в серые парусиновые туфли, протертые на носках, и всё время переминался с ноги на ногу, пока капитан разбирал препроводительную записку, присланную из штаба участка связным краснофлотцем, приведшим мальчика:

«... был задержан утром у переднего края... По его показаниям, он в течение двух недель наблюдал за немецкими силами в районе совхоза «Новый путь»... Направляется к вам как могущий быть полезным для батареи...»

Капитан сложил записку и сунул её за борт полушубка. Мальчик продолжал спокойно смотреть на него.

— Как тебя зовут?

Мальчик выпрямился, вскинув подбородок, и попытался щёлкнуть каблукáми, но лицо его свело болью, он испуганно взглянул на свои ноги и, понурясь, торопливо сказал:

— Николай Вихров, товарищ капитан.

Капитан посмотрел на его туфли и покачал головой.

— Мокроступы у тебя не по сезону, товарищ Вихров. Ноги застыли?

Мальчик потупился. Он изо всех сил старался удержаться от слёз. Капитан подумал о том, как он пробирался ночью в этих

тúфлях по желéзной от морóза степí. Емú самомú стáло зя́бко. Он передёрнул плечáми и, поглáдив мáльчика по красной щекé, сказáл:

— Добрó! У нас другáя мóда на óбувь... Лейтенáнт Кóзуб! Мáленький крепíш лейтенáнт козырнул капитáну.

— Прикажíte начхóзу немéдленно подыскáть и принестí мне в каземáт вáленки сáмого мáлого размéра.

Кóзуб рысью побежáл исполнять приказáние. Капитáн взял мáльчика за плечó:

— Пойдём в моё хáту. Обогрéешься — поговорím.

В командíрском каземáте, трещá и гудя́, пылáла печь. Красно-флóтец помéшивал кочерёжкой ўгли. Оранжевые óтблески дрожáли на бéлой стенé. Капитáн снял полушúбок и повёсил на крюк. Мáльчик, озирáясь, стоял у двéри. Вероятно, его поразíла ésta свóдчатая подзёмная кóмната, сверкáющая эмáлевой белизнóй, зáлитая сýльным свéтом лáмпы.

— Раздевайся, — предложíл капитáн. — У меня́ тут жáрко, как на артековском пля́же в июле. Грэйся!

Мáльчик стянул с плеч пальтíшко, аккуратнó свернул его подклáдкой нару́жу и, привстáв на цы́почки, повёсил повéрх капитáнского полушúбка. Капитáну понрáвилось его бéрежное отношéние к одéжде. Без пальтó мáльчик оказалсá мáленьким и óчень худым. Капитáн подумáл, что он, навёрное, крепко поголодáл.

— Садíсь! Спервá закусим, потóм дéло. Был, понима́ешь, в стáрое врéмя какой-то полковóдец, котóрый изрёк, что путь к сёрдцу солдáта пролегáет чéрез желúдок. Довóльно толковýй был мужйк. Боёц с пóльным животóм стóит пятí голо́дных... Чай любишь крепкйй?

Капитáн налил дóверху свою́ толстую фáйнсовую кру́жку тёмной дымящейся жíдкостью. Отрéзал здоровýй ломóть бухáнки, наворотíл на него́ мáсла в пáлец толщинóй и увенчáл это сооружéние пластóм копчёной грудíнки.

Мáльчик почтí испугáнно покосíлся на этот чудóвищный бутербрóд.

— Клади́ саха́р!

И капита́н придвину́л гостю́ отпи́лок шестидюймо́вой гильзы, наби́тый синева́тыми, искри́стыми, как снег, кусками́ рафина́да. Ма́льчик исподло́бья посмотре́л на капита́на стра́нным взгля́дом, осторо́жно взял кусо́чек саха́ру поме́ньше и положи́л ря́дом с ча́шкой.

— Ого́! — засмея́лся капита́н. — Вон как ты от сла́дкого отвы́к. У нас, брат, так ча́й не пьют. Это то́лько напíтку по́рча.

И он с плёском б́хнул в кру́жку увеси́стую глыбу́ саха́ра. Худе́е лицо́ ма́льчика сморщи́лось, и из глаз на стол зака́пали неудо́ержи́мые, оче́нь кру́пные слёзы. Капита́н вздохну́л, придвину́лся и о́бнял костля́вые плечи́ гостя́.

— Ну, по́лно! — произнёс он вёсело. — Брось! Что бы́ло, то сплы́ло. Здесь тебя́ не оби́дят. У меня́, понима́ешь, вот тако́й же павиа́н, врёде тебя́, есть, то́лько Юрко́й зову́т. А во всём проче́м — как две ка́пли, и нос тако́й же, пу́говицей.

Ма́льчик бы́стрым и стыдли́вым же́стом смахну́л слёзы.

— Это... я ниче́го, това́рищ капита́н... я не за себя́ разню́нился... Я ма́му вспо́мнил.

— Вон что... — протяну́л капита́н. — Ма́му? Ма́ма жива́?

— Жива́. — Глаза́ ма́льчика засвети́лись. — То́лько голо́дно у нас. Ма́ма по но́чам от неме́цкой ќхни карто́фельные ошу́рки собира́ла. Раз часовой́ её заста́л. По руке́ — прикла́дом... До сих пор рука́ не гне́тся...

Он сти́снул губы́, и из глаз его́ уплы́ла не́жность. В них роди́лся же́сткий и о́стрый блеск. Капита́н погла́дил его́ по голове́:

— Потерпи́... Ма́му вы́ручим. Ложись, вздремни́ немно́го.

Ма́льчик умоля́юще посмотре́л на капита́на:

— Потом... Я не хочу́ спать. Сперва́ расскажу́ про них.

В его́ го́лосе был тако́й нака́л упо́рства, что капита́н не наста́ивал. Он пересе́л к друго́му кра́ю стола́ и вы́нул блокно́т:

— Ла́дно, дава́й!.. Ско́лько, по-тво́ему, неме́цев в совхо́зе?

Ма́льчик отве́тил бы́стро, без запíнки:

— Пе́рвое — бата́льон пехо́ты. Бава́рцы. Сто се́мьдесят шес-то́й полк два́дцать се́дьмо́й дивизии. Прибы́ли из Голла́ндии.

Капитан удивился такой точности ответа.

— Откуда ты это знаешь?

— Видел на погонах цифры. Слушал, как разговаривали. Я по-немецки в школе хорошо занимался, всё понимаю... Потом рота мотоциклистов-автоматчиков. Взвод средних танков. По северному краю совхоза окопы. Два дота с полевыми и противотанковыми пушками. Они сильно укрепились, товарищ капитан. Всё время цемент грузовиками таскали. Я из окошка поглядывал.

— Можешь точно указать местоположение дотов? — спросил, подаваясь вперёд, капитан. Он вдруг понял, что перед ним не обыкновенный мальчик, а очень зоркий, сознательный и точный разведчик.

— Большой дот у них на бахче за старым током... А другой...

— Стоп! — прервал капитан. — Это здорово, что ты так хорошо всё выследил. Но, понимаешь, мы же в твоём совхозе не жили. Где бахча, где ток — нам неизвестно. А морская десятидюймовая артиллерия, дружок, штука серьёзная. Начнём гвоздить наугад, много лишнего перекрошить можем, пока в точку посадим. А там ведь и наши люди есть... И мама твоё...

Мальчик взглянул на капитана с недоумением:

— Так разве у вас, товарищ капитан, карты нет?

— Карта есть... Да разве ты в ней разберёшься?

— Вот ещё, — сказал мальчик с небрежным превосходством, — у меня же папа геодезист. Я сам карты чертить могу... Папа теперь тоже в армии... Он командир у сапёров! — добавил он с гордостью.

— Выходит, что ты не мальчик, а клад, — пошутил капитан, развёртывая на столе штабную полукилометровку.

Мальчик встал колёнками на табурет и нагнулся над картой. Лицо его оживилось, палец уперся в бумагу.

— Вот же, — сказал он, счастливо улыбаясь, — как на ладошке. Карта у вас какая хорошая! Подробная, как план... Вот тут за оврагом и есть старый ток.

Он безошибочно разбирался в карте, как опытный топограф, и вскоре частокól красных крестиков, нанесённых рукой капитана, испятнал карту по всем направлениям, засекая цели. Капитан был доволен.

— Очень хорошо, Колья! — Он одобрительно потрепал по плечу мальчика. — Просто здорово!

И мальчик, на мгновение перестав быть разведчиком, поребячьи прижался щекой к капитанской ладони. Ласка вернула ему его настоящий возраст. Капитан сложил карту:

— А теперь, товарищ Вихров, в порядке дисциплины — спать!

Мальчик не противился. Глаза у него слипались от сытной еды и тепла. Он сладко зевнул, и капитан ласково уложил его на свою койку и накрыл полушубком. Потом вернулся к столу и уселся за составление исходных расчётов. Он увлёкся и не замечал времени. Тихий оклик оторвал его от работы:

— Товарищ капитан, который час?

Мальчик сидел на койке встревоженный. Капитан отшутился:

— Спи! Тебе что до времени? Начнётся драка — разбудим.

Лицо мальчика потемнело. Он заговорил быстро и настойчиво:

— Нет, нет! Мне же назад надо! Я маме обещал. Она будет думать, что меня убили. Как стемнеет — я пойду.

Капитан изумился. Он и предположить не мог, что мальчик всерьёз собирается вторично проделать страшный путь по ночной степи, который случайно удался ему однажды. Капитану казалось, что его гость не вполне проснулся и говорит спросонок.

— Чепуха! — рассердился капитан. — Кто тебя пустит? Если даже не попадётся немцам, то в совхозе можешь угодить под наши снаряды. Спи!

Мальчик насупился и покраснел:

— Я немцам не попадусь. Они ночами от мороза по домам сидят. А я все тропочки наизусть... Пожалуйста, пустите меня.

Он просил упрямо и неотступно, и капитану на мгновение пришла мысль: «А что, если весь рассказ мальчугана — обду-

манная комедия, обман?» Но, заглянув в ясные, детские зрачки, он отбросил это предположение.

— Вы же знаете, товарищ капитан, что немцы не позволяют никому уходить из совхоза. Если меня хватятя утром и не найдут, маме худо будет.

Мальчик явно волновался за судьбу матери.

— Есть... всё понял,— сказал капитан, вынимая часы.— Сейчас шестнадцать тридцать. Мы пройдемся с тобой на наблюдательный пункт и еще раз сверим всё. Когда стемнеет, тебя проведут. Ясно?

На наблюдательном пункте, вынесенном вплотную к пехотным позициям на рубеже, капитан сел к дальномёру. Он увидел холмистую крымскую степь, покрытую голубыми полосами снега, нанесённого ветрами в балки. Розовый свет заката умирал над полями. На горизонте темнели узкой полоской сады далёкого совхоза.

Капитан долго разглядывал массивы этих садов и белые крапинки зданий между ними. Потом он подозвал мальчика:

— Ну-ка, взгляни! Может, маму увидишь.

Улыбаясь шутке капитана, мальчик взглянул в окуляр. Капитан медленно поворачивал штурвальный горизонтальной наводки, показывая гостю панораму родных мест. Внезапно Колья отстранился от окуляра и мальчишески радостно затеребил капитана за рукав:

— Скворечня! Моя скворечня, товарищ капитан! Честное пионерское!

Удивлённый капитан нагнулся к окуляру. В поле зрения, высясь над сеткой оголённых тополевых верхушек, над зелёной в пятнах ржавчины крышей, темнел на высоком шесте крошечный квадратик. Капитан видел его совсем отчётливо на бледно-сизом небе. И это натолкнуло его на неожиданную мысль. Он взял Колью под локоть, отвёл его в сторону и тихо заговорил с мальчиком под недоумёнными взглядами краснофлотцев-дальномёрщиков.

— Понял? — спросил капитан.

И мальчик, весь просияв, кивнул головой.

Небо потемнело. С моря потянуло ледяной колючестью зимнего ветра. По ходу сообщения капитан провёл Кольку на рубеж. Он вызвал командира роты, рассказал ему вкратце дело и приказал вывести мальчика скрытно за рубеж... Два краснофлотца канули с мальчиком в темноту. И капитан смотрел вслед, пока не перестали белеть новые валенки, принесённые мальчику в командный каземат начхозом батареи. Капитан ждал с тревогой — не грянут ли в этой тьме внезапные выстрелы. Но всё было тихо, и капитан ушёл к себе на батарею.

Ночью ему не спалось. Он без конца пил чай и читал. Перед рассветом он был уже на наблюдательном пункте. И как только на востоке посветлело и можно было различить на этой светлеющей полосе крошечный квадратик, он подал команду. Первый пристрелочный залп башни расколб тишину зимнего утра. Гром медленно покатылся над полями. И капитан увидел, как тёмный квадратик на шесте качнулся дважды и, после паузы, в третий раз.

— Перелёт... вправо, — перевёл для себя капитан и скомандовал второй залп.

На этот раз скворечня не шевельнулась, и капитан перешёл к огню на поражение обеими башнями. С волнением артиллериста он наблюдал, как в дыму разрывов полетели кверху глыбы бетона и брёвна. Он усмехнулся и после трёх залпов перенёс огонь на вторую цель. И снова скворечня вела с ним дружеский немой разговор. Огонь обрушился туда, где красный крестик на карте отметил склад горючего и боеприпасов. На этот раз капитану повезло с первого залпа. Над горизонтом полыхнула широкая полоса бледного огня. В туче дыма исчезло всё: деревья, крыши, шест с тёмным квадратиком. Взрыв был очень сильный, и капитан с тревогой подумал о том, что мог надёлать этот взрыв.

Запищал телефон. С рубежа просили прекратить огонь. Морская пехота, пошедшая в атаку, уже продвинулась к немецким окопам. Тогда капитан вскочил в коляску мотоцикла и в открытую помчался по полю на рубеж. От совхоза доносился пулемётный треск и удары гранат.



Ошеломлённые немцы, потеряв опорные точки, сопротивлялись слабо. С околицы уже мигали весёлые флажки семафора, докладывая об отходе противника.

Бросив мотоцикл, капитан побежал напрямик, через степь, по тому месту, где ещё накануне появление человека вызывало шквал свинца. Над садами совхоза плыл серо-белый дым горящего бензина, и в нём глухо рычали рвущиеся снаряды. Капитан торопился к зелёной крыше между надломленными тополями. Ещё издали он увидел у калитки закутанную в платок женщину. За её руку держался мальчик. Завидев капитана, он кинулся ему навстречу. Капитан с ходу подхватил мальчика и стиснул его. Но мальчику, видимо, не хотелось в эту минуту быть маленьким. Он упёрся руками в грудь капитана и рвался из его объятий. Капитан выпустил его. Колья стал перед ним, приложив руку к рыжей шапочке:

— Товарищ капитан, разведчик Вихров задание выполнил.

Подошедшая женщина с замученными глазами и усталой улыбкой протянула руку капитану:

— Здравствуйте!.. Он так вас ждал... Мы все ждали. Спасибо, родные!

И она поклонилась капитану хорошим, глубоким русским поклоном. Колья стоял рядом с капитаном.

— Молодец! Отлично справился!.. Страшновато было на чердаке, когда мы начали стрелять? — спросил капитан, привлекая мальчика к себе.

— Страшно! Ой как страшно, товарищ капитан! — чистосердечно ответил мальчик. — Как первые снаряды ударили, так всё и зашаталось, будто проваливается. Я чуть не махнул с чердака. Только стыдно стало. Сам себе говорить начал: «Сиди... сиди!» Так и досидел, пока склад рвануло. А после и не помню, как вниз очутился.

И, сконфузясь, он уткнулся лицом в полушубок капитана, маленький русский человек, тринадцатилетний герой с большим сердцем — сердцем своего народа.

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК

Крест-накрест синие полёски
На окнах съжившихся хат.
Родные тонкие берёзки
Тревожно смотрят на закат.

И пёс на тёплом пепелище,
До глаз испачканный в золе,
Он целый день кого-то ищет
И не находит на селе...

Накинув старый зипунёшко,
По огородам, без дорог,
Спешит, торопится парнёшка
По солнцу — прямо на восток.

Никто в далёкую дорогу
Его теплее не одел,
Никто не обнял у порога
И вслед ему не поглядел.

В нетопленной, разбитой бане
Ночь скоротавши, как зверёк,
Как долго он своим дыханьем
Озябших рук согреть не мог!



Но по щекé егó ни рáзу
Не проложíла путь слезá.
Должнó быть, сли́шком мно́го сра́зу
Увидели егó глазá.

Всё ви́девший, на всё готóвый,
По грудь провáливаясь в снег,
Бежáл к своим русоголóвый
Десятилéтний человек.

Он знал, что гдé-то недалéче,
Быть мóжет, вон за той горóй,
Егó, как дрúга, в тёмный вéчер
Окликнет рúсский часовóй.

И он, прижáвшийся к шинéли,
Родные слы́ша голосá,
Расска́жет всё, на что глядéли
Егó недéтские глазá.

1943

У изголовья посижу.
Спи, улыбнись во сне.
Улыбка первая твоя
Согреет сердце мне,
Как нежный маленький цветок,
Напомнит о весне.

Близка победа.
День придёт —
Исполнится мечта,
Фашистов разгромит народ.
Тьму и насилие сметёт,
И солнце над тобой взойдёт...
Нет, ты не сирота!

1942



ХОЗЯЙКА

Отклонились мы маленко.
Путь-дороги не видать.
Деревенка Лутовенка,—
до войны рукой подать.

Высокий лес Валдая,
по колёно крепкий снег.
Нас хозяйка молодая
приютила на ночлэг.

Занялась своей работой,
самовар внесла большой,
с напускною неохотой
и с открытою душой.

Вот её обитель в мире.
Дом и прибран и обжит.
— Сколько деток-то?

— Четыре.

— А хозяин где?

— Убит.

Молвила и замолчала,
и, не опуская глаз,
колыбельку покачала,
села прямо против нас.

Говорила ясность взгляда,
проникавшего до дна:
этой — жалости не надо,
эта — справится одна.

Гордо голову носила,
плавно двигалась она
и ни разу не спросила,
скоро ль кончится война.

Нехоча к пустословью,
не роняя лишних фраз,
видно, всей душой, всей кровью,
знала это лучше нас.

Знала тем спокойным знанием,
что навек хранит народ:
вслед за горем и страданием
облегчение придет.

Чтобы не было иначе,
кровью плачено большой.
Потому она не плачет,
устоявшая душой.

Потому она не хочет
пасть под натиском беды.
Мы легли, она хлопочет, —
звон посуды, плеск воды.

Вот и вымыта посуда.
Гасит лампочку она.
А рукой подать отсюда
продолжается война.

Пусть же будет трижды свято
знамя гнева твоего,
женщина, жена солдата,
мать народа моего.

НА МАРШЕ

Пыль позади на сотни метров,
Песок скрипучий на зубах,
Машины дышат жарким ветром,
И рычаги горят в руках.

Прилечь бы на траве сожжённой,
Хоть на обочине, в пыли,
Уснуть, не сняв комбинезона,
Из рта не выплюнув земли.

А мы спешим, спешим на запад,
Как будто там, где пушки бьют,
Прохлады тополиный запах
И долгий отдых выдают...

Ревут моторы на подъемах,
Дрожат, покачиваясь, лес.
Идут машины, словно громы,
Сошедшие с крутых небес.

Колышется под ними лето,
От ветра клонятся кусты...
И молнии лежат в каскетах,
Из меди звонкой отлиты!

СОЛДА́ТСКАЯ КА́ША

Шёл штурм Берлина. Гро́зно грохота́ли сове́тские ору́дия, от разры́вов мин и снаря́дов содрога́лась земля́. Огро́мные ка́менные зда́ния ру́шились и горели́ с треском, как соло́менные.

Осо́бенно жесто́кий бой шёл на подхо́дах к рейхста́гу и у канце́лярии Гитлера.

С шипе́нием, с пла́менем взрыва́лись фа́уст-патро́ны. Та́нки вспыхивали, как дымные костры́. А в узком переу́лке, совсе́м ря́дом с гро́хотом и взры́вами, — ми́рная карти́на. Борода́тый ру́сский солда́т ва́рит ка́шу. Привяза́л к решётке чугу́нной огра́ды па́ру верблю́дов, запряжённых в походную ку́хню, задал им ко́рма. А сам деловито собира́ет обло́мки ме́бели и подбрасывае́т в двёрцу́ пе́чки, поста́вленной на колёса.

Откро́ет кры́шку, помеша́ет ка́шу, что́бы не пригорела, и сно́ва подки́нет дров. За его́ ми́рной рабо́той наблюда́ет мно́жество де́тских глаз из подва́ла полуобвали́вшегося до́ма напра́тив. Детворе́ оче́нь стра́шно, но любопы́тно. Преодолева́я страх, неме́цкие ребя́тишки уста́вились во все глаза́ на пе́рвого ру́сского солда́та, поя́вившегося в их переу́лке.

И хотя́ ружьё у него́ за плеча́ми, а в руках вме́сто ору́жия большо́й поло́вник, им жуткова́то. Страша́т и его́ лохма́тые брёви, и его́ внима́тельные хитрова́тые взгляды́ исподло́бья. Сло́вно он ви́дит их и хо́чет сказа́ть: «Вот я вас, поста́йте...»

Осо́бенно страша́т неме́цких дете́й его́ ко́ни, чуде́шными горба́тые живо́тные с облэзлой шку́рой. О́ни живу́т где-то там, в сиби́рских пусты́нях, и называ́ют их верблю́дами...

Такие́ в Тирга́ртене бы́ли то́лько за решётками, и над ни́ми — предупре́ждение: «Бли́зко не подходи́ть, опа́сно».

А ру́сский похло́пывает их по шерша́вым бока́м, погла́живает стра́шные мо́рды.

— Это Ма́ша и Ва́ся. Умные, от са́мой Во́лги с на́ми дошли́...

Солдát достаёт кашу больш́им полóвником и прóбует с дово́льной гримáсой: «Ах как вкусна́!»

Навёрное, она́ действительно вкусна́, э́та солдáтская каша. Запах её прекра́сен. Так и щекóчет нóздри, так и зовёт попрóбовать. Ах, ёсли бы съесть хоть ма́ленькую лóжку... Так есть хочет-ся, так оголода́ли де́ти, за́гнанные в подва́лы! Кото́рый день не то́лько без горя́чего супа, совсе́м без еды...

И когда́ солдát стал обли́зывать лóжку, подми́гивая детворе́, са́мый хра́брый не вы́держал. Вы́скочил из подва́ла и засты́л сто́лбиком, испугáвшись своёй ре́звости.

— Ну, дава́й-ка, дава́й то́пай, зайчи́шка, — помани́л его́ солдát. — Подставля́й ча́шку-ми́ску. Что, не́ту? Ну, дава́й в го́рстку положу́.

И хотя́ никто́ не по́нял чужо́го го́вора, до всех дошёл ла́ско-вый смысл его́ слов. Из подва́ла мальчи́шке брóсили ми́ску. С вели́ким напря́жением, вы́тянув то́щие ше́и, малы́ш наблюда́ли, как ми́ска храбреца́ наполняется каше́й. Как он возвра́щается, ве́ря и не ве́ря, что оста́лся жив, и говори́т удивле́нно-сча́стливо:

— Она́ с мя́сом и с ма́слом!

И тут подва́л сло́вно прорвалó. Сначала́ ручейко́м, а зате́м пото́ком хлы́нули де́ти, толкая́ друг дру́га, звеня́ ми́сками, кастру́льками.

— По о́череди, по о́череди, — улыба́лся солдát.

Мно́гие ребя́та проси́ли доба́вки. Иные́, получи́в доба́вку, бежа́ли в подва́л и возвра́щались с пусто́й ми́ской.

— Что, свою́ му́ттер угости́л? Ну, бери́, тащи́, подели́сь с ба́бушкой.

И солдát ла́сково поддава́л шлепка́ малышу́. Вскóре у похóдной кúхни появи́лся ста́рый не́мец. Он стал наводи́ть поря́док, не дава́я вне о́череди получа́ть по второ́й пор́ции.

— Ничего́, — усмехну́лся солдát, — кто сме́л, тот два съел.

— У вас есть прика́з корми́ть неме́цких дете́й, госпо́дин солдát? — спроси́л ста́рый не́мец, ме́ленно выговáривая слова́. — Я был плéнным в Сиби́ри в ту войну́, — объясни́л он своё зна́ние ру́сского языка́.



— Сёрдце приказывает,— вздохнул солдат.— У меня дома тоже остались мал мала меньше...

Старый немец, потупившись, протянул свою миску, попробовал кашу и, буркнув «благодарю», сказал:

— А не совершаете ли вы воинского проступка? Разве у вас нет строгости дисциплины?

— Всё есть, любезный. Порядки воинские знаем, не беспокойтесь...

— Но как же...

Старый немец не договорил. Ударили фашистские шестиствольные миномёты, а их накрыли русские «катюши». Всё кругом зашаталось. Переулок заволокло ёдким дымом.

Дети присели, сжались, но не убежали.

С площади донеслись крики, застучали пулемёты.

— Ну, пошли рейхстаг брать,— проговорил солдат.— Теперь уж недолго, возьмём Берлин — войне капут! А ну, детвора, подходи. Давайте, господин, вашу миску, добавлю! Не стесняйтесь, это за счёт тех, кто из боя не вернётся,— видя его нерешительность, сказал солдат.

Но эти слова словно обожгли старого немца. Отойдя за угол, он сел на развалинах, уронив на колени миску с недоёденной кашей. А дети ещё долго вились вокруг походной кухни. Они освобились даже с верблюдами. И не испугались, когда к кухне стали подходить русские солдаты. В окровавленных бинтах, в разорванных гимнастёрках. Закопчённые, грязные, страшные. Но немецкие дети уже не боялись их. Уцелевшие после боя солдаты не хотели каши, а просили только пить. И произносили отрывисто непонятные слова: «Иванов», «Петров», «Яшин»... Бородатый солдат повторял их хриплым голосом, каждый раз вздрагивая. И, добавляя немецким детям каши, говорил:

— Кушайте, сироты, кушайте...

И украдкой, словно стесняясь, всё смахивал что-то с ресниц. Словно в глаза ему попадали соринки и пепел, вздыбленные вихрем жестокого боя. Дети ели кашу и, поглядывая на солдата, удивлялись: разве солдаты плачут?

* * *

Мой сын синеглазый!
В тревожные, грозные дни
Прочти эти строки
И в памяти их сохрани.
Я жить, побеждая, хочу,
Но война есть война.
И если фашистская пуля
Мой путь оборвёт,
Заменил отца тебе
Наша большая страна,
И сердце моё
В твоей груди оживёт.
Я в трудное время
Исполню свой долг до конца.
Тебе не придётся краснеть,
Вспоминая отца.

Западный фронт.

1941

СОЛДАТЕНОК

Первый раз он увидел отца в кино. Тогда он был малышом лет пяти.

Произошло это в той большой белой кошаре, где каждый год проводят стрижку овец. Кошара эта, покрытая шифером, и поныне стоит за совхозным посёлком, под горой, у дороги.

Сюда он прибежал с матерью. Его мать, Джеенгуль, телефонистка почтового отделения в совхозе, каждое лето с началом стригального сезона устраивалась подсобной работницей на стригальном пункте. Для этого она брала свой отпуск и отгул за сверхурочные дни и ночи, проведённые у коммутатора во время посевной и окотной кампаний, и работала здесь до последнего дня стрижки. Оплата на стрижке сдельная, тут можно было неплохо заработать. А для неё, солдатской вдовы, ой как нужна была каждая лишняя копейка! Хотя семья и невелика — сама да сын, но всё одно: семья есть семья — топливо надо запасти на зиму, муки надо купить, пока не вздорожала, придётся надо, обуться... Да и мало ли чего надо.

Сына оставлять дома было не с кем, и потому она брала его с собой на работу. Здесь он и бегал целыми днями, чумазый и счастливый, среди стригалей, чабанов и лохматых пастушьих собак.

Он первым увидел, как во двор кошары приехала кинопередвижка, и первым пустился оповещать всех об этом чрезвычайно радостном событии:

— Кино приехало! Кино!

Картину начали показывать после работы, когда стемнело.

А до этого он просто истомился от ожидания. Но зато муки его были вознаграждены. Фильм был про войну. На белом полотнище, повешенном между двумя столбами в конце кошары, началось сражение, загрохотали выстрелы, со свистом взмывали ввысь ракеты, добела освещая истёрзанную всполохами тьму и приникших к земле разведчиков. Ракеты гасли, и разведчики снова бросались вперёд. А пулемёты строчили среди ночи так, что у мальчика дух занимался. Вот это была война!

Он с матерью примостился на тюках шерсти, позади других. Отсюда было виднее. Ему, конечно, хотелось сидеть в самом первом ряду, там, где подле экрана устроились на полу прибежавшие из совхоза ребяташки. Он было кинулся к ним, но мать одёрнула:

— Хватит, носишься с утра до вечера, побудь со мной, — и усадила его к себе на колени.

Киноаппарат стрекотал, война шла. Люди напряжённо следили за ней. Мать вздыхала, порой испуганно вздрагивала и крепче прижимала его к себе, когда танк метил прямо в них. Какая-то женщина, сидевшая рядом на тюках, то и дело горестно цокала языком и бормотала:

— Бóже мой, что творится, бóже мой!..

А ему было не очень страшно, напротив, иногда даже очень весело, когда падали фашисты. А когда падали наши, ему казалось, что они потом встанут.

Вообще-то забавно падают люди на войне. Точь-в-точь как они, когда играют в войну. Он тоже умеет так падать, с разбегу, будто дали тебе подножку. Больно, правда, расшибаешься, но ничего, встанешь — и снова в наступление, и забудешь об ушибах. А эти не встают, остаются лежать на земле тёмными неподвижными бугорками. Он умел падать и по-другому, как те, кому пуля попадала в живот. Они падают не сразу, сперва схватятся за живот, потом согнутся и медленно валятся на траву, роняя из рук оружие. После этого он объявлял, что не убит, и снова воевал. А эти не поднимались.

Война шла. Киноаппарат стрекотал. Теперь на экране появи-

лись артиллеристы. Под шквальной огнём, среди взрывов и дыма, они выкатывали противотанковое орудие на прямую наводку. Они толкали орудие вверх, по склону оврага. Склон был долгий и широкий, почти вполнеба. И по этому долговому и широкому склону, вскипающему чёрными всплесками взрывов, двигалась кучка артиллеристов. В их движении, в их облике было нечто такое, отчего сердце гудело в груди, переполнялось гордостью, болью и ожиданием страшного и великого. Их было человек семь. Одежда на них тлела. Один из артиллеристов обличьем не походил на русского. Быть может, мальчик и не обратил бы на него внимания, если бы не мать. Она шепнула:

— Смотри, это твой отец...

И с этой минуты он стал его отцом. И весь фильм потом был про него, про его отца. Отец оказался совсем молодым, как молодые совхозные парни. Роста он был небольшого, круглолицый, с быстрыми глазами. Глаза его зло сверкали на чёрном от грязи и дыма лице, и весь он был цепкий и стремительный, как кошка. Вот он, подпирая плечом колесо пушки, обернулся и крикнул кому-то вниз: «Снаряды! Не задерживай!» И голос его перекрыло грохотом нового взрыва.

— Мама, это мой отец? — переспросил Авалбек у матери.

— Что? — не поняла она. — Сиди тише. Смотри.

— Ты же сказала, что он мой отец.

— Да, конечно, твой отец. Только ты не разговаривай, не мешай другим.

Почему она так сказала? Зачем? Возможно, просто так, случайно, не подумала в ту минуту, возможно, разволновалась, вспомнила мужа. А он, несмышлёныш, поверил. И очень обрадовался, растерялся от этой неожиданной и незнакомой ему радости и по-детски возгордился им, своим отцом, солдатом. Вот это настоящий отец! Это он и есть, его отец, а мальчишки дразнят, что у него нет отца. Пусть увидят они теперь его отца, и чабаны пусть увидят! Эти чабаны, скитальцы гор, никогда толком не знают ребят. Он им помогает загонять отары во двор стригального пункта, он разгоняет их собак, когда те дерутся, а они донимают его рас-

спросами. Каждый чабан, сколько их есть на свете, обязательно спросит:

— Ну, джигит, как же тебя звать?

— Авалбек.

— Чей же ты будешь?

— Я сын Токтосуна!

Чабаны не сразу понимают, о ком речь.

— Токтосуна? — нагибаясь с седла, переспрашивают они. — Это какого же Токтосуна?

— Я сын Токтосуна, — твердит он.

Так велела отвечать мать, и слепая бабушка наказывала не забывать имя отца. Она уши надирала ему за это. Злая...

— А-а, постой, постой, так ты сын телефонистки, что на почте, так ведь, а?

— Нет, я сын Токтосуна! — продолжает он стоять на своём. И тогда чабаны начинают догадываться, в чём дело.

— Верно, ты и есть сын Токтосуна! Молодец! Это мы просто испытать тебя решили. И не обижайся, джигит, мы круглый год в горах, а вы тут растёте, как трава, трудно узнавать детвору.

И потом они между собой долго припоминают его отца. Перешёптываются, говорят, что он совсем молодым ушёл на фронт и многие уже не помнят его. И хорошо, что остался сын, а сколько ребят ушли холостыми, и некому теперь носить их имя!

А теперь, с той минуты, как мать шепнула ему: «Смотри, это твой отец», солдат на экране стал его отцом. И мальчик уже думал о нём, как о своём отце. Он действительно чем-то очень походил на военную фотографию отца, молодого солдата в пилотке. На ту самую фотографию, которую они потом увеличили и повесили в рамке под стеклом.

А в тот час Авалбек смотрел на отца глазами сына, и в его детской душе поднималась горячая волна неизведанной сыновней любви и нежности. Отец на экране словно бы знал, что за ним следит сын, и словно бы хотел за свою мгновенную жизнь в кино показать себя таким, чтобы сын вечно помнил о нём и вечно гордился им — солдатом минувшей войны. И война с этой минуты

уже не казалась мальчику забавной, и ничего смешного не было в том, как падали люди. Война стала серьёзней, тревожней, страшней. И он впервые испытал чувство страха за близкого человека, за того человека, которого ему всегда не хватало.

Киноаппарат стрекотал, война шла. Впереди показались наступающие танки. Они грозно надвигались, кромсая землю гусеницами, и, разворачивая башни, с ходу стреляли из пушек. А наши артиллеристы, выбиваясь из сил, тащили оружие навёрх. «Скорей, скорей, папа! Танки идут, танки!» — торопил отца сын. Наконец пушку выволокли, вкатили в кусты орешника и начали палить по танкам. А танки палили в ответ. Их было много. Жутко становилось.

Сыну казалось, что и сам он там, рядом с отцом, в огне и грохоте войны. Он подпрыгивал на коленях матери, когда танки горели чёрным дымом, когда гусеницы их слетали с колёс, когда они слепо и злобно кружились на одном месте. Он притихал, собирался в комок, когда падали наши солдаты у орудия. Их становилось всё меньше и меньше... А мать плакала, лицо её было мокрым и горячим.

Киноаппарат стрекотал, война шла. Бой разгорался с новой силой. Танки подходили всё ближе и ближе. Пригнувшись у лафета, отец яростно и громко что-то кричал в трубку полевого телефона, ничего нельзя было разобрать в грохоте. Вот упал ещё один солдат у орудия; он пытался встать, но не мог, ткнулся в землю. И земля почернела от его крови. Вот они остались только вдвоём — отец и ещё один солдат. Они дали ещё один выстрел, затем два подряд. Но танки наседали. Вот ухнул ещё один снаряд — подле пушки. Взрыв. Огонь и тьма. С земли поднимается теперь только один, это его отец. Он снова кидается к орудию. Сам заряжает, сам наводит. Это последний выстрел. снова взрыв окутывает экран. Пушку отца искорежило и отбросило в сторону. Но сам он ещё жив. Он медленно встает с земли и идёт, обгоревший, в дымящихся клочьях одежды, навстречу танку. В руках у него граната. Он уже ничего не видит и не слышит. Он собирает в себе последние силы.



— Стой, не пройдёшь! — Он зама́хивается гранáтой. И замираёт на секунду в этой позе, с искажённым от ненависти и боли лицом.

Мать так сильно стиснула сыну руку, что он чуть не задохнулся. Он хотел вырваться и броситься к отцу, но из дула танка плеснула длинная пулёмётная очередь, и отец упал, как срубленное дерево. Он покати́лся по землѣ, пытался встать и снова упал навзничь, широко раскинул руки...

Киноаппарат смолк, война оборвалась. Это был конец части. Киномеханик включил свет, чтобы перезарядить ленту.

Когда в кошаре вспыхнул свет, все зажмурились и заморгали глазами, возвращаясь из мира кино, из войны в свою реальную жизнь. И в этот момент мальчик скатился с тюков шерсти с ликующим криком:

— Ребята, это мой отец! Вы видели? Это моего отца убили...

Никто такого не ожидал, и никто не мог сообразить, что произошло. А мальчик бежал с торжествующим криком к экрану, где в первых рядах сидели друзья-мальчишки, мнение которых было для него самым важным. На короткое время в кошаре воцарилась странная, неловкая тишина. До людей пока не доходил нелепый смысл радости этого маленького человека, никогда прежде не видевшего своего отца. Никто ничего не понимал, все растерянно молчали и пожимали плечами. Киномеханик выронил из рук коробку от киноленты. Она звякнула и покати́лась, разделившись на две половинки. Но никто не обратил на это внимание, и сам киномеханик не бросился поднимать. А он, солдатёнок, сын погибшего солдата, продолжал доказывать своё:

— Вы же видели, это мой отец!.. Его убили! — говорил он, возбуждаясь тем больше, чем больше молчали люди, и не понимал, почему они не радовались и не гордились его отцом так же, как он.

Кто-то из взрослых недовольно шикнул:

— Ч-ч, перестань, не говори так.

Но другой ему возразил:

— А что такого? Его отец погиб на фронте. Не правда, что ли?

И тогда соседский мальчишка, школьник, первым решился сказать ему правду:

— Да это не твой отец. Что ты кричишь? Вовсе не твой отец, а артист. Спроси вон у дяди-киномеханика.

Взрослые не хотели лишать мальчишку его горькой и прекрасной иллюзии, и потому они надеялись, что приезжий киномеханик за просто скажет всё, как есть. Все обернулись к нему. Но и тот промолчал. Уткнулся в аппарат, будто занятый очень.

— Нет, мой отец, мой! — не унимался солдатёнок.

— Какой твой отец? Который? — снова заспорил соседский парнишка.

— Он шёл с гранатой на танк. Ты разве не видел? Он упал вот так!

Мальчик бросился на землю и покатылся, показывая, как упал его отец. И сделал это в точности, как было. Он лежал перед экраном навзничь, широко раскинув руки.

Зрители невольно рассмеялись. А он лежал, как убитый, и не смеялся. Снова наступила неловкая тишина.

— Да что же это, куда же ты смотришь, Джеенгуль? — с упрёком проговорила старая женщина-чабан, и все увидели, как мать шла к сыну, скорбная и строгая, со слезами на глазах.

Она подняла сына с земли.

— Пойдём, сыночек, пойдём. Это был твой отец, — тихо сказала она ему и повела его за собой из кошары.

Луна стояла уже высоко. В тёмно-синей ночной дали белели горные вершины, а степь внизу лежала громадная и непроглядная, как омут...

И только теперь, впервые в жизни, он познал горечь утраты. Ему вдруг стало до невозможного обидно, больно, горестно за убитого в бою отца. Ему вдруг захотелось обнять мать и заплакать, и чтобы она плакала вместе с ним. Но она молчала. И он молчал, сжав кулаки, сглатывая слёзы.

Он не знал, что с этого часа в нём начал жить отец, давно погибший на войне.

* * *

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.

На рыжих скалах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжёлые гремят,
Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

1944

НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ

Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли
И от по́та ещё солонь
В эти дни бесконечной весны.

Возвращались солдаты с войны.
И прошли по Москвѣ, точно сны,—
Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны.
В зоопарке трубили слоны,—
Возвращались солдаты с войны!

Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы —
Москвичи, ленинградцы, донцы...
Возвращались сибиряки.

Возвращались сибиряки —
И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,
И владельцы мирных долин,—
Возвращался народ-исполн...

Возвращался?
Нет!
Шёл он вперёд,
Шёл вперёд
Победитель-народ!

1945



ПОБЕДИТЕЛЬ

Без мáлого четы́ре го́да
Гремéла грóзная война́.
И снóва рúсская приро́да
Живóго трéпета полна́.

Там, где мы бра́ли крóвью, с бо́ю,
Противотáнковые рвы,
Цветы́, обрызганы росóю,
Встаю́т, качáясь, из травы́.

Где ночь от я́рких мо́лний слéпла,
Кипéла в за́водях вода́,—
Из ка́мня, ще́бня и из пéпла
Встаю́т родные́ городá.

И вот доро́гою обратнóй,
Не покоря́емый вове́к,
Идёт, сверши́вши по́двиг рáтный,
Вели́кий рúсский человек.

Он сде́лал всё. Он тих и скрóмен.
Он мир от чёрной смéрти спас.
И мир, прекра́сен и огрóмен,
Его́ привéтствует сейча́с.

А сза́ди тёмные моги́лы
Враго́в на да́льном берегу́ —
О на́шей до́блести и си́ле
Напомина́ние врагу́.

1946



* * *

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под берёзами лежат,
и вам ответят их сыны,
хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей.
Спросите у жены моей.
И вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

1961

УРОК РОДНОГО ЯЗЫКА

В клáссе ую́тном, простóрном
Утром сто́ит тишина́.
За́няты шко́льники де́лом —
Пи́шут по бе́лому че́рным,
Пи́шут по че́рному бе́лым,
Пе́рьями пи́шут и ме́лом:
*«Нам не нужна́
Война́!»*

Стро́йка идёт в Ленингра́де,
Стро́ится на́ша Москва́.
А на доске́ и в тетра́ди
Шко́льники стро́ят слова́.

Чёткая в у́треннем све́те,
Ка́ждая бу́ква видна́.
Пи́шут сове́тские де́ти:
*«Мир всем наро́дам на све́те.
Нам не нужна́
Война́!»*

Мир всем наро́дам на све́те.
Всем есть простóр на планете́,—
Свет и богáт и вели́к.

На́ши сове́тские де́ти
Так изуча́ют язы́к.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Тимур Гайдэр. Предислвие	5
К. Симонов. Родина. <i>Стихи</i>	7
А. Твардовский. «Война — жесто́че не́ту слова...» <i>Стихи</i>	8
Е. Винокуров. Отцы. <i>Стихи</i>	9
А. Бек. Последний лист. <i>Рассказ</i>	10
А. Прокóфьев. Москв́е. <i>Стихи</i>	15
К. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафёте...» <i>Стихи</i>	16
Н. Тихонов. Ру́ки. (<i>Из цикла «Ленинградские рассказы»</i>)	18
М. Светло́в. Ленинград. <i>Стихи</i>	23
О. Бергго́льд. Стихи о ленинградских большевика́х. <i>Стихи</i>	24
В. Кожёвников. Дом без но́мера. <i>Рассказ</i>	26
С. Орло́в. Сталинград. <i>Стихи</i>	37
А. Сурко́в. Защи́тник Сталинграда. <i>Стихи</i>	38
А. Софрóнов. Шумел сурово Бря́нский лес. <i>Стихи</i>	41
Б. Полево́й. Последний день Матве́я Кузьмина. <i>Рассказ</i>	42
М. Матусо́вский. Балла́да о солда́те. <i>Стихи</i>	50
В. Ката́ев. Флаг. <i>Рассказ</i>	52
Б. Васи́льев. «А збо́ри здесь тихие...» (<i>Отрывок из повести</i>)	60
Ю. Дру́нина. «Кача́ется рожь несжа́тая...» <i>Стихи</i>	73
В. Гу́сев. Сестра́. <i>Стихи</i>	74
К. Симонов. Бессме́ртная фами́лия. <i>Рассказ</i>	77
С. Гудзе́нко. Саце́р. <i>Стихи</i>	84
А. Жа́ров. Заветный ка́мень. <i>Стихи</i>	85
Л. Со́болов. Держи́сь, старшина́... <i>Рассказ</i>	87
А. Твардовский. «Когда́ пройде́шь путе́м колóнн...» <i>Стихи</i>	103
М. Исако́вский. Ру́сской же́нщине. <i>Стихи</i>	104
Б. Лавренёв. Большо́е се́рдце. <i>Рассказ</i>	106
С. Михалко́в. Десятиле́тний челове́к. <i>Стихи</i>	115
Г. Гуля́м. Ты не сирота́. <i>Стихи. Перевод с узбе́кского Я. Аки́ма</i>	118
М. Алиге́р. Хозя́йка. <i>Стихи</i>	120
С. Орло́в. На ма́рше. <i>Стихи</i>	122
Н. Богда́нов. Солда́тская ка́ша. <i>Рассказ</i>	123
А. Сурко́в. «Мой сын синегла́зый!» <i>Стихи</i>	127
Ч. Айтма́тов. Солдатёнок. <i>Рассказ. Перевод с кирги́зского автора</i>	128
С. Орло́в. «Его́ зары́ли в шар земно́й...» <i>Стихи</i>	136
Л. Ма́ртынов. На́род-победи́тель. <i>Стихи</i>	137
М. Ду́дин. Победи́тель. <i>Стихи</i>	139
Е. Евтуше́нко. «Хотя́т ли ру́сские война́?...» <i>Стихи</i>	141
С. Ма́рша́к. Уро́к родно́го языка́. <i>Стихи</i>	142

ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

РАДИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ

*Стихи и рассказы
о Великой Отечественной войне*

ИБ № 8410

Ответственный редактор Г. В. Кузнецова. Художественный редактор Г. Ф. Ордынский. Технические редакторы И. П. Савенкова и Е. М. Захарова. Корректоры И. В. Козлова и Г. В. Романова. Сдано в набор 21.01.85. Подписано к печати 18.12.85. Формат 70×90^{1/16}. Бум. офс. № 1. Шрифт школьный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,53. Усл. кр.-отт. 43,65. Уч.-изд. л. 7,69. Тираж 100 000 экз. Заказ № 184. Цена 95 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.







95 коп.